

СТЕФАН ЦВЕЙГ
Толкование снов¹

Как это люди до сих пор так мало раздумывали о содержании наших снов, свидетельствующем о наличии двойной жизни в человеке? Разве в этом явлении не заключена целая новая наука?.. Оно, по меньшей мере, подтверждает факт постоянного разрыва между сторонами нашей природы. Я в конце концов вынес из этого убеждение в преимущественной мощи скрытых наших чувств над явными.

Бальзак, Луи Ломбер, 1833 г.

Бессознательное — глубочайшая тайна всякого человека; психоанализ ставит себе задачей помочь ему в раскрытии этой тайны. Но как раскрывается тайна? Трояким образом. Можно силой исторгнуть у человека то, что он утаивает; столетия попыток показали наглядно, каким способом можно разжать и упрямо стиснутые губы. Далее, можно путем различных сопоставлений угадать скрытое, пользуясь короткими мгновениями, когда смутный абрис тайны — подобно спине дельфина над непроницаемой гладью моря — на секунду всплывает из мглы. И можно, наконец, с величайшим терпением дожидаться случая, когда, в состоянии ослабленной настороженности, высказано будет то, что скрывалось.

Всеми этими тремя техническими приемами пользуется попеременно психоанализ. На первых порах он пытался насильственно заставить заговорить бессознательное, подавляя волю гипнотическим внушением. Психологам давно уже было известно, что

¹ Из книги С. Цвейга «Исцеление духом (Месмер. Мари Бейкер-Эдди. Фрейд)». Перевод С. И. Бернштейна. — *Примеч. ред.*

человек знает о себе больше, чем он сознательно признает перед самим собой и другими, но они не умели толком подойти к подсознательному. Только месмеризм* показал впервые, что в состоянии искусственного сна из человека нередко можно извлечь больше, чем в состоянии бодрствования. Тот, чья воля парализована, кто пребывает в трансе, не знает, что он говорит в присутствии других; он полагает, что находится в мировом пространстве наедине с самим собой, и выбалтывает, не смущаясь, сокровеннейшие свои желания и тайны. Поэтому гипноз казался поначалу самым многообещающим методом; но вскоре (по соображениям, которые завели бы нас слишком далеко в детали дела) Фрейд отказывается от насильственного вторжения в бессознательное как от способа неэтического и малопродуктивного; подобно тому как судопроизводство, на более гуманной ступени, добровольно отказывается от пытки, заменяя ее более сложным искусством допроса и косвенных улик, так и психоанализ вступает в эпоху комбинирования и догадок из эпохи насильственно добытых признаний. Всякая дичь, как бы ни была она проворна и легка на ходу, оставляет следы. И в точности так же, как охотник по самым слабым отпечаткам ног угадывает поступь и породу зверя, как археолог по осколку вазы устанавливает принадлежность к той или иной эпохе целого города, погребенного под землей, и психоанализ практикует в этой последующей стадии развития свое искусство тайного розыска, пользуясь малейшими указаниями, при посредстве которых бессознательное проявляет себя в данный момент в пределах сознательной жизни. Уже при первых своих наблюдениях в направлении этих указаний Фрейд обнаружил поразительные следы, а именно так называемые ошибочные действия. Под ошибочными действиями (для каждого нового понятия Фрейд неизменно находит особо меткое слово) глубинная психология понимает совокупность всех тех своеобразных явлений, которые человеческая речь, величайшая и старейшая представительница психологического опыта, давно уже объединила в одну целостную группу и обозначила одинаковым начальным слогом «о», как то: о-говориться, о-писаться, о-ступиться, о-слышаться. Пустяк, без сомнения: человек ого-

варивается, произносит одно слово вместо другого, принимает один предмет за другой, описывается, пишет вместо одного другое слово, с каждым случается такая ошибка десять раз на дню. Но откуда берутся эти опечатки в книге жизни? В чем причина того, что материя противится нашей воле? Ни в чем — случай или усталость, отвечала старая психология, поскольку она вообще не удостаивала своим вниманием столь незначительные изъяны повседневной жизни. Отсутствие всякой мысли, рассеянность, невнимательность. Но Фрейд берется за дело вплотную: что значит отсутствие мысли, как не то, что наши мысли не там, где надлежало бы им быть в согласии с нашей волей? И если в результате не осуществляется диктуемое волею намерение, то откуда выскакивает другое, волей не продиктованное? Почему вместо того слова, которое мы хотим произнести, мы произносим другое? Так как при ошибочных действиях вместо действия преднамеренного совершается другое, то кто-то должен был вмешаться и это действие воспроизвести. Должен быть кто-то, кто добывает это неправильное слово вместо правильного, кто прячет предмет, который мы ищем, кто коварно подсовывает вместо сознательно разыскиваемого другой предмет. И вот Фрейд приходит к убеждению (и эта идея становится первенствующей в его методике), что на всем пространстве психики нет ничего бессмысленного, случайного. Для него всякий душевный процесс имеет определенный смысл, всякий поступок — своего вдохновителя; и так как в этих ошибочных действиях сознательная сфера человека не участвует, но оттесняется, то что же такое эта оттесняющая сила, как не бессознательное, столь долго и безуспешно разыскиваемое? Таким образом, ошибочное действие означает для Фрейда не отсутствие мысли, но проникновение вовне некоей оттесненной мысли. Что-то высказывает себя в о-говорке, в о-писке, чему не давала выхода в речь наша сознательная воля. И это что-то говорит неведомым и подлежащим еще изучению языком бессознательного.

Этим самым объяснено нечто основное: во-первых, в каждом ошибочном действии, во всем якобы неправильно проделанном, выражается какое-то тайное намерение. И во-вторых: в области

сознательной воли должно было быть налицо сопротивление этому проявлению бессознательного. Когда, например (я беру примеры самого Фрейда), профессор говорит на конгрессе о работе своего товарища: «Мы не в состоянии дать достаточно низкой оценки этому открытию», то сознательным его намерением было, правда, сказать «высокой», но в глубине своей души он думал «низкой». Это ошибочное действие выдает его истинную установку, оно, к его собственному ужасу, выдает его тайну, состоящую в том, что он охотнее недооценил бы работу своего товарища, чем переоценил ее. Или если некая искушенная в туризме дама жалуется во время экскурсии, что у нее намокли от жары блуза и рубашка, и потом продолжает: «Если бы только скорее добраться до панталон и сбросить все!» — то кто же не поймет того, что поначалу она хотела высказаться полнее и сообщить, что у нее намокли блуза, рубашка и панталоны¹. Понятие «панталоны» было близко к тому, чтобы соскочить с языка, но в последний момент является сознание непристойности положения; это сознание преграждает путь слову и оттесняет его; но подавленное намерение не до конца вытеснено, и вот роковое слово выскакивает, пользуясь мигом растерянности, в следующей фразе, в качестве «ошибочного действия». При обмолвке высказывают то, чего собственно не хотели сказать, но что думали в действительности. Забывают то, что в глубине души хотели забыть. Теряют то, что хотели потерять. Ошибочное действие почти всегда означает признание и улику против самого себя.

Это психологическое открытие Фрейда, незначительное по сравнению с основными его творческими мыслями, встретило, в ряду его наблюдений, наиболее единодушное признание со стороны, как самое забавное и безобидное; в пределах же его системы ему принадлежит только промежуточная роль. Ибо такие ошибочные действия имеют место сравнительно редко, они являются лишь мельчайшими осколками бессознательного, слишком малочисленными и слишком рассеянными во време-

¹ Не поддающаяся переводу обмолвка: в подлиннике «nach Nose» вместо «nach Hause». Nose — «панталоны», nach Hause — «домой». — *Примеч. перев.*

ни, чтобы можно было составить из них мозаику целого. Но Фрейд, с присущей ему жаждой наблюдательности, нащупывает, конечно, исходя отсюда, всю нашу душевную жизнь по ее поверхности: нет ли налицо и других столь же «бессмысленных» явлений и нельзя ли их растолковать в том же смысле. Ему не приходится долго искать, чтобы столкнуться с наиболее постоянным явлением душевной нашей жизни, которое точно так же слывет бессмысленным и считается даже типичной бессмыслицей. Даже в разговорном языке сон, этот повседневный наш гость, характеризуется как назойливый пришелец и фантастический бродяга по логически безупречным путям нашей мозговой системы: «сновидения — пена». В глазах людей это — ничто, расцвеченная, как мыльный пузырь, пустота без цели и без смысла, мираж в крови; их содержание ничего не «означает». Человеку нечего делать со своими снами, он не повинен в этой своенравной, колдовской игре своей фантазии — так аргументирует старая психология и отказывается от всякого осмысленного их толкования; пускаться в серьезные разговоры с этими лживыми и бестолковыми созданиями не представляет для науки никакого смысла, никакой ценности.

Но кто же говорит, показывает, живописует, действует и создает образы в наших сновидениях? Уже прежняя эпоха подозревала, что здесь говорит, действует и проявляет свою волю не наше бодрствующее «я», а кто-то другой. Уже древность поясняла относительно сновидений, что они нам «даны», вложены в нас какой-то высшей силой. Здесь проявляет себя какая-то сверхземная или — если отважиться на это слово — какая-то сверхличная воля. А для всякой внечеловеческой воли древний мир мифов знал только одно толкование: боги! — ибо кто же кроме них обладал даром превращения и высшей силой? Это были они, обычно незримые; в символических сновидениях приближались они к людям, нашептывали им вести, наполняли их ужасом или надеждой и рисовали на черной завесе сна красочные свои картины, предостерегая и заклиная. Уверенные, что внемяют в этих ночных откровениях священным, более того, божеским голосам, все первобытные народы с величайшим жаром пытались

уразуметь человеческим своим умом божественный язык «сновидения», чтобы постигнуть в нем волю божества.

Так на заре человечества, в качестве одной из самых ранних наук, возникло толкование снов; перед каждой битвой, перед каждым решающим событием, по прошествии ночи, исполненной сновидений, жрецы и прорицатели вникают в сны и толкуют их содержание как символ грядущего блага или угрожающего зла. Ибо древнее искусство толкования снов, в противоположность психоанализу, раскрывающему с их помощью человеческое прошлое, полагает, что в этих фантазмагориях бессмертные возвещают смертным их будущее. И вот тысячелетиями царит в храмах фараонов, в акрополях Греции, в святилищах Рима и под палящим небом Палестины эта мистическая наука. Для сотен и тысяч поколений сновидение было наиболее достоверным толкованием судьбы.

Новая эмпирическая наука, само собой разумеется, резко прорывает с этим воззрением, как с суеверным и до крайности наивным. Так как она не признает никаких богов и едва ли признает божество, то не видит в снах ни указания свыше, ни какого-либо смысла вообще. Для нее сны — это хаос, по неимению смысла не имеющий никакой цены, голый физиологический акт, лишенный тональности, дисгармоническое последствие нервных возбуждений, красочный мираж переполненного кровью мозга, последний, не имеющий значения отголосок непереваренных за день впечатлений, который уносится мутной волною сна. В таком беспорядочном нагромождении образов нет, разумеется, никакого логического или психического смысла. Поэтому наука не усматривает в чередовании сновидений ни достоверности, ни цели, отрицая какое бы то ни было их значение или закономерность; психология того времени не делает даже попыток осмыслить бессмысленное, истолковать не поддающееся толкованию.

Только с появлением Фрейда — по прошествии двух-трех тысячелетий — сновидение получает опять объективную ценность, как некий указующий на судьбу человека акт. Там, где другие видели только хаос, беспорядочное движение, глубинная психология вновь постигает закономерное действие сил; то, что

казалось ее предшественникам запутанным лабиринтом без выхода и без смысла, представляется ей *via regia**, связывающей подсознательную жизнь с сознательной. Сновидение является посредником между миром наших потайных чувств и миром чувств, подчиненных нашему сознанию; благодаря ему мы можем знать многое такое, что в состоянии бодрствования соглашаемся знать неохотно. Ни один сон, утверждает Фрейд, не является до конца бессмысленным, каждому из них, как полноценному душевному акту, присущ определенный смысл. В каждом проявляется себя не высшая правда, не божественная, не внечеловеческая воля, но зачастую самая затаенная, самая глубокая воля человека. Правда, этот вестник не говорит языком обыкновенной нашей речи, языком поверхностным, — он говорит языком глубины, языком бессознательного. Поэтому мы не сразу постигаем его смысл и его назначение; мы должны сперва научиться истолковывать этот язык. Новая, подлежащая еще разработке наука должна научить нас закреплять, постигать, переводить на понятный нам язык то, что с кинематографической быстротою мелькает на черной завесе сна. Ибо подобно всем первобытным языкам человечества, подобно языку египтян, халдеян и мексиканцев, язык сновидений пользуется исключительно образами, и всякий раз мы стоим перед задачей претворить его символы в понятия. Эту задачу — преобразовать язык сновидений в язык мысли — берет на себя Фрейд, имея в виду нечто новое и характерное для его метода. Если старая, пророческая система толкования снов пыталась познать будущее человека, то вновь возникшая психологическая система прежде всего хочет вскрыть его психобиологическое прошлое, а с ним вместе и подлинное его настоящее. Ибо только по видимости наше выступающее в сновидениях «я» идентично нашему «я» бодрствующему. Так как времени во сне не существует (не случайно мы говорим «с быстротою сновидения»), то во сне мы представляем совокупность всего, чем были когда-либо и что мы теперь; наше «я» одновременно и младенец, и отрок, человек вчерашнего дня и человек сегодняшней, суммарное «я», итог не только текущей, но и прожитой жизни, между

тем как наяву мы воспринимаем единственно наше мгновенное «я». Всякая жизнь двойственна. В глубине, в бессознательном, мы являем собой совокупность нашей личности, бывшее и настоящее, первобытного человека и человека культурного в их нагромождении чувств, архаические остатки некоего пространного, с природой связанного «я», а сверху, в ясном, режущем свете дня — только сознательное, проходящее «я». И эта универсальная, но смутная жизнь сообщается с нашим проходящим существованием почти исключительно ночью, при посредстве таинственного гонца во тьме — сновидения; самое существенное, что мы в себе постигаем, узнаем мы от него. Потому-то подслушать его, понять его назначение и значит ознакомиться с самым существом своей сущности. Только тот, кто знает свою волю не только в пределах сознания, но и в глубинах своих сновидений, догадывается, поистине, о том итоге пережитой и проходящей жизни, который мы именуем нашей личностью.

Но как опустить грузило в столь непроницаемые и безмерные глубины? Как познать отчетливо то, что никогда ясно не высказывается, что мелькает только смутными личинами в затененных переходах нашего сна, что вещает только, вместо того чтобы говорить? Найти для этого ключ, найти расколдовывающий шифр, который бы выразил непонятный язык сновидений языком яви, — это требует своего рода магии, какой-то провидческой интуиции. Но Фрейд в своей психологической мастерской обладает отмычкой, которая раскрывает все двери, он пользуется почти безошибочной механикой; во всех случаях, когда он хочет достигнуть самых сложных результатов, он исходит из самого примитивного. Неизменно ставит он изначальную форму на один уровень с конечной; всегда и повсюду нащупывает он корни, чтобы ознакомиться с цветком. Поэтому Фрейд в своей психологии сна начинает не с высококультурного, сознательного человека, а с ребенка. Ибо в детском сознании, в пределах наличных представлений, мало имеется смежных, соприкасающихся понятий, круг мышления ограничен, ассоциации слабы, и потому материал сновидений доступен обозрению. В отношении детских снов достаточно минимальной дозы

искусства толкования, чтобы сквозь тонкую оболочку мышления проникнуть в область затаенных чувственных восприятий. Ребенок прошел мимо кондитерской, родители не согласились купить ему что-либо, и вот ребенок видит во сне шоколад. Полностью неотстоявшимися, полностью неокрашенными претворяются в детском мозгу вожделение в образ, желание — в сновидение. Нет еще налицо каких бы то ни было душевных, моральных, сексуальных, интеллектуальных комплексов, какой-либо чрезмерной предусмотрительности или оглядки. С той же непосредственностью, с какой ребенок демонстрирует себя, свое голое и чуждое стыдливости тело всякому постороннему, раскрывает он и во сне свои подлинные желания.

Этим самым проделана уже некоторая подготовительная работа в целях будущего толкования. Оказывается, что за символическими образами сна скрываются по большей части неисполнившиеся, подавленные желания, которые не могли осуществиться днем и вот устремляются теперь обратно в жизнь путями сновидения. То, что по каким-либо причинам не могло воплотиться днем в слово или в действие, выявляет себя там в красочных фантазиях, при посредстве образов и очертаний; в ускользящем от контроля потоке сна все вожделения и устремления нашего внутреннего «я» могут свободно и во всей наготе вести свою беспорядочную игру. С виду как будто без всяких задержек — вскоре Фрейд исправит эту ошибку — изживается там все то, что не могло воплотиться в реальной жизни, самые темные желания, опаснейшие и запретнейшие помыслы; в этой свободной от постороннего контроля области душа, изо дня в день стесняемая преградами, может наконец освободиться от бремени всех своих сексуальных и агрессивных вожделений; во сне мужчина может обнять и силою овладеть женщиной, которая наяву ему противится, нищий может разбогатеть, урод — обзавестись красивой внешностью, старик — помолодеть, отчаявшийся в жизни — стать счастливым, всеми забытый — снискать славу, слабый — обрести силу. Только здесь человек может убить своего врага, поработить своего начальника, экстатически изжить наконец в обладании божественной

свободой свои затаеннейшие чувственные вожелдения. Всякое сновидение означает, таким образом, не что иное, как изо дня в день подавляемое человеком и даже от самого себя скрываемое желание; так, по-видимому, гласит первичная формула.

Это первое в ряду других положение Фрейда не произвело сколько-нибудь определенного впечатления на широкую общественность, так как формула «сновидение — это как бы неизжитое желание» столь доступна в обращении и удобна, что ею можно играть, как стеклянным шариком. И действительно, в некоторых кругах полагают, что серьезно занимаются анализом сновидений, развлекаясь забавной салонной игрой, выражающейся в толковании того или иного сна с точки зрения символики желаний или даже сексуальной символики. В действительности никто более благоговейно, чем именно Фрейд, не взирал на многосложность той ткани, из которой сотканы сновидения, и на высокохудожественную мистику ее хитросплетений; никто не подчеркивал этого вновь и вновь так, как Фрейд. При его недоверчивом отношении к слишком быстрым выводам не потребовалось много времени, чтобы заметить, что вся эта доступность и быстрота восприятия относятся только к детским снам, ибо у взрослых фантазия образотворчества пользуется уже необъятным символическим материалом ассоциаций и воспоминаний. И тот образный словарь, который в детском мозгу насчитывает каких-нибудь двести-триста обособленных представлений, сплетает здесь, с непостижимым проворством и быстротою, миллионы и, может быть, миллиарды пережитых мгновений в непомерно запутанную ткань. Миновали в сновидениях взрослого бессознательное бесстыдство и неприкрытость детской души, свободно выявлявшей свои желания, миновала болтливая непринужденность прежней поры ночных видений; сон взрослого не только дифференцированное, но и тоньше, затаеннее, неискреннее, лицемернее, чем сон ребенка; он стал уже наполовину моральным. Даже в этом призрачном, личном своем мире изначально сущий в человеке Адам утратил рай непосредственности, он различает добро и зло даже в глубоком сне. Доступ к социальному, к этическому сознанию даже во сне не до конца прегражден, и в то время, как глаза

сомкнуты и затуманены все чувства, душа человеческая испытывает страх: как бы не застигла ее, с ее непристойными желаниями, с преступными ее намерениями, ее укротительница, совесть, «Сверх-Я», как именует ее Фрейд. Не свободными путями, открыто и без утайки, шлет сновидение свою весть ввысь, из области бессознательного, но проводит ее контрабандным путем, потайными дорогами, в самой затейливой маскировке. Поэтому Фрейд настоятельно предостерегает против того, чтобы рассматривать структуру сна как его истинное содержание. В сновидении взрослого чувство хочет высказаться, но не решается высказаться свободно. Оно высказывается, из страха перед «цензором», намеренно извращенно и чрезвычайно тонко, оно неизменно выдвигает на первый план бессмыслицу, чтобы не дать возможности разгадать подлинный смысл; как и всякий сочинитель, сновидение создает вымышленную правду, иначе говоря, оно признается «*sub rosa*»*, оно раскрывает тайное переживание только в символах. Следует поэтому тщательно разграничивать две категории: то, что «вымышлено» во сне ради утайки, так называемую «продукцию сна», и те подлинные элементы переживаний, которые скрываются за этой красочной завесой, — «содержание сна». Задачей психоанализа является, таким образом, разобраться в запутанной сети искажений и высвободить из загадочного романа — всякое сновидение ведь «вымысел и правда» — правду, действительное признание и вместе с ним ключ к разгадке. Не то, что говорит сон, а то, что он собственно хотел сказать, вводит нас в область бессознательных душевных переживаний. Только здесь обретаем мы глубину, к которой стремится глубинная психология.

Если Фрейд придает анализу сновидений особое значение в деле распознавания личности, то этим он ни в коем случае не толкает нас на смутные, произвольные толкования. Фрейд требует научно-кропотливого метода исследования, подобного тому, которое применяется литературоведами при подходе к поэтическому произведению. Так же, как германист пытается отграничить подлинный мотив переживания от фантастических прикрас и спрашивает себя, что, собственно, побудило автора к этому именно образу — как, например, в эпизоде с Гретхен* усматривает он, в качестве

импульса, подмену переживания с Фридерикою, так и психоаналитик ищет в измышленных своим пациентом сновидениях побудительный аффект. Образ данного лица обрисовывается перед ним всего явственнее в создаваемых этой личностью образах; здесь, как и всегда, Фрейд глубже всего познает человека в состоянии продуктивности. Но так как познание личности является, собственно, основной целью психоаналитики, то ему приходится крайне осмотрительно пользоваться творческими тенденциями человека, материалом его сновидений; если он остерегается увлечений, противится соблазну измыслить и вложить в чужое сновидение свой собственный смысл, то во многих случаях он способен отвоевать позиции, весьма важные для ориентировки во внутреннем мире личности. Несомненно, антропология обязана Фрейду, столь плодотворно установившему психическую осмысленность ряда сновидений, ценными моментами в своем развитии; но помимо этого, в процессе работы ему удалось достигнуть и большего, а именно впервые истолковать биологический смысл сновидения как некоей душевной необходимости. Наука уже давно постигла, что значит сон в хозяйственном обиходе мироздания; он восстанавливает истощившиеся за день силы, возобновляет израсходованную нервную энергию, устанавливает перерыв и отдых в сознательной работе мозга. В соответствии с этим казалось бы, что совершеннейшей с гигиенической точки зрения формой сна должна быть, собственно, абсолютная, черная пустота, родственное смерти погружение в небытие, приостановка работы мозга, утрата зрения, понимания, мыслительной способности. Почему же природа не наделила человека такой, с виду наиболее целесообразной формой отдохновения? Почему, при неизменной осмысленности всех ее явлений, она оживила черную завесу сна колдовской игрой видений? Почему каждонощно тревожит она эту пустоту, этот путь в nirvanу столь соблазнительным для души мельканием мнимой яви? К чему сновидения? Разве они не связывают, не смущают, не расстраивают, не противодействуют столь мудро задуманному отдохновению? С виду бессмысленные, разве они не опорочивают идею целесообразности и планомерности природных явлений? На этот вполне естественный вопрос

биология ничего до сих пор не могла ответить. И лишь Фрейд устанавливает впервые, что сновидения необходимы для утверждения нашего душевного равновесия. Сновидение — это клапан для нашего чувства. Ибо в слабое и брэнное наше тело вложено слишком много могучих страстей, непомерное жизнелюбие и непомерная жажда утех, и как мало желаний, из миллиарда имеющихся налицо, может удовлетворить рядовой человек в пределах мещански-размеренного дня! Едва ли тысячная часть наших вождедений воплощается в жизнь; и вот неутоленная и неутомимая, в бесконечность простирающаяся жажда томит каждого, вплоть до мелкого рантье, поденщика и призреваемого в богадельне. Каждого из нас обуревают темные влечения, бессильное властолюбие, подавленные и трусливо притаившиеся анархические помыслы, извращенное тщеславие, позы к жизни, зависть. Из несчетного числа проходящих мимо нас женщин каждая в отдельности вызывает в нас мгновенную страсть, и все эти неизжитые порывы, позы к обладанию змеиным, ядовитым клубком скапливаются в подсознании, с раннего утра и до поздней ночи. Если бы ночные видения не давали исхода всем этим подавленным желаниям, могла ли бы душа не разлететься под таким атмосферным давлением или не прорвать себе выхода в преступление и убийство? Выпуская наши вождедения, непрестанно утесняемые в пределах дня, на свободу, в безобидные области сновидений, мы снимаем тяжкое бремя с нашего чувства, мы освобождаем, путем такого самоотвлечения, нашу душу от яда угнетенности, подобно тому как наше тело освобождается во сне от яда усталости. В этом нам одним доступном воображаемом мире мы изживаем все наши социально-преступные помыслы в форме безответственных, мнимых действий, вместо того чтобы изживать их как действия, влекущие кару. Сновидение означает суррогат, замену действия; оно избавляет нас нередко от необходимости действовать, и в высшей степени поучительно изречение Платона: «Хорошие люди — это такие, которые довольствуются снами, в то время как другие действуют». Не в качестве помехи жизни, помехи сна, а в качестве стража сна посещает нас сновидение; в спасительной его фантастике душа освобождается, галлюцинируя, от избытка

своей напряженности («Что скопилось в сердце, расчихал во сне» — гласит выразительная китайская поговорка), так что по утрам наше посвежевшее тело обретает в себе, вместо переполненной души, душу очистившуюся и легко дышащую.

Это облегчающее, катарсическое действие сновидения является, по Фрейд, тем самым его смыслом, которого так долго искали и который так упорно отрицался; и этим спасительным свойством обладает не только ночной пришелец, сон, но и высшая форма фантастики и грез наяву, а стало быть и художественное творчество и мифотворчество. Ибо какую же цель преследует творчество, как не избавить, символически, человека от томительных внутренних перенапряжений, перенести гнетущую его силу в другую, безопасную для его духа область! В каждом истинно художественном произведении образотворчество является творчеством самовысвобождения, и если Гёте говорит, что Вертер покончил самоубийством вместо него, то этим он с необычайной выразительностью поясняет, что спас свою собственную жизнь, осуществив задуманное им самоубийство на другом, вымышленном образе, двойнике; выражаясь психоаналитически, он «отреагировал» свое самоубийство в самоубийстве Вертера. И подобно тому, как отдельные личности освобождаются от гнета и от вожделения во сне, так и народы в целом высвобождают томящий их страх и присущие им страсти в мифах и религиях; на жертвенных алтарях освящается их инстинкт кровопролития, маскирующийся в символ, душевный гнет претворяется молитвою и покаянием в целительное слово утешения. Душа человечества выявляла себя от начала веков лишь в художественной фантастике, иначе что бы мы о ней знали! Ее творческая мощь постигается нами только в ее сновидениях, воплощенных в религию, мифы и произведения искусства. Никакая психология поэтому не в состоянии — это прочно внушил нашей эпохе Фрейд — доискаться до подлинно личного в человеке, если она рассматривает только его сознательные и ответственные действия; ей приходится спуститься вглубь, туда, где существо человека становится мифом и создает наиподлиннейшую картину его жизни, в творчески-стремительном потоке стихийно-бессознательного.

**Психология масс
и анализ
человеческого «Я»**



I. ВВЕДЕНИЕ

Противопоставление индивидуальной и социальной, или массовой, психологии, которая на первый взгляд может показаться столь значительной, многое теряет при ближайшем рассмотрении. Правда, психология личности исследует индивида и те пути, которыми он стремится удовлетворить свои импульсивные позывы, но все же редко, только при определенных исключительных обстоятельствах, в состоянии она не принимать во внимание отношения этого индивида к другим индивидам. В психической жизни человека всегда присутствует «другой». Он, как правило, является образцом, объектом, помощником или противником, и поэтому психология личности с самого начала является одновременно также и психологией социальной в этом расширенном, но вполне обоснованном смысле.

Отношение индивида к родителям, сестрам и братьям, к предмету его любви, к его учителю и к его врачу, т. е. все отношения, которые до сих пор были главным образом предметом психоаналитического исследования, имеют право считаться социальными феноменами и становятся тогда противопоставленными другим известным процессам, названным нами нарциссическими, при которых удовлетворение первичных позывов уклоняется или отказывается от влияния других лиц. Итак, противопоставленность социальных и нарциссических душевных процессов — Блейлер*, может быть, сказал бы: аутических — несомненно входит в область психологии личности и не может быть использована с целью отделить эту психологию от психологии социальной или массовой.

В упомянутых отношениях к родителям, сестрам и братьям, к возлюбленной, к другу, учителю и к врачу индивид встречается с влиянием всегда лишь одного лица или очень незначительного числа лиц, из которых каждое приобрело для него

очень большое значение. Теперь — если речь идет о социальной, или массовой, психологии — эти отношения перестали принимать во внимание, выделяя как предмет особого исследования одновременное влияние на одного человека большого числа лиц, — с которыми он чем-то связан, хотя они во многом могут ему быть чужды. Таким образом, массовая психология рассматривает отдельного человека как члена племени, народа, касты, сословия, институции или как составную часть человеческой толпы, в известное время и для определенной цели организующейся в массу. Такой разрыв естественной связи породил тенденцию рассматривать явления, обнаруживающиеся в этих особых условиях, как выражение особого глубже не обоснованного первичного позыва — социального первичного позыва, — который в других ситуациях не проявляется. Мы, однако, возражаем, что нам трудно приписать таким многочисленным моментам столь большое значение, что лишь один первичный позыв пробуждает в душевной жизни человека новый и в других случаях остававшийся в бездействии импульс. Тут существуют тем самым две другие возможности: что социальный первичный позыв может не являться исконным и неделимым и что причины его образования могут быть найдены в кругу более тесном, как, например, в семейном.

Массовая психология, пусть только зарождающаяся, включает в себя еще необозримое множество отдельных проблем и ставит перед исследователем бесчисленные, пока еще не систематизированные задачи. Одна только систематизация различных форм возникновения масс и описание проявленных ими психических феноменов требуют усиленных наблюдений и умелого отображения и уже породили большую научную литературу. Сравнивая эту небольшую работу со всем объемом поставленных задач, следует, конечно, учесть, что здесь мы обсуждаем лишь немногие пункты из всего материала. Мы остановимся лишь на некоторых вопросах, особенно интересных для глубинного психоаналитического исследования.

II. ЛЕБОН И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВОЙ ДУШИ

Думается, что более целесообразно начинать не с определения, а с указания на известную область явлений, а затем уже выделить из этой области несколько особенно явных и характерных фактов, с которых может начаться исследование. Чтобы выполнить эти условия, мы обращаемся к выдержкам из книги Лебона «Психология масс», по праву получившей широкую известность.

Уясним себе еще раз положение вещей; если бы психология, наблюдающая склонности и исходящие из первичных позывов импульсы, мотивы и намерения отдельного человека вплоть до его поступков и отношений к наиболее близким ему людям, полностью свою задачу разрешила и все эти взаимосвязи выяснила, то она внезапно оказалась бы перед новой неразрешенной задачей. Психологии пришлось бы объяснить тот поразительный факт, что этот ставший ей понятным индивид при определенном условии чувствует, думает и поступает совершенно иначе, чем можно было бы от него ожидать, и условием этим является его включение в человеческую толпу, приобретающую свойство «психологической массы». Но что же такое «масса», чем приобретает она способность так решаяще влиять на душевную жизнь отдельного человека и в чем состоит душевное изменение, к которому она человека вынуждает?

Ответить на три эти вопроса — задача теоретической массовой психологии. Нам думается, что для разрешения задачи правильнее всего начать с третьего вопроса. Материал для массовой психологии дает наблюдение над измененной реакцией отдельного человека: ведь каждой попытке объяснения должно предшествовать описание того, что надлежит объяснить.

Я предоставляю слово самому Лебону. Он говорит: «В психологической массе самое странное следующее: какого бы рода ни были составляющие ее индивиды, какими схожими или несхожими ни были бы их образ жизни, профессия, их характер и степень интеллигентности, но одним только фактом своего

превращения в массу они приобретают коллективную душу, в силу которой они совсем иначе чувствуют, думают и поступают, чем каждый из них в отдельности чувствовал, думал и поступал бы. Есть идеи и чувства, которые проявляются или превращаются в действие только у индивидов, соединенных в массы. Психологическая масса есть провизорное существо, которое состоит из гетерогенных элементов, на мгновение соединившихся, точно так же, как клетки организма своим соединением создают новое существо с качествами совсем иными, чем качества отдельных клеток».

Мы берем на себя смелость прервать здесь изложение Лебона замечанием: если индивиды в массе образуют единство, то должно существовать что-то, что их связывает, и этим связующим качеством могло бы быть именно то, что характерно для массы. Лебон, однако, на этот вопрос не отвечает; он обсуждает только изменение индивида в массе и описывает его в выражениях, которые вполне согласуются с основными предпосылками нашей глубинной психологии.

«Легко установить степень различия между индивидом, принадлежащим к массе, и индивидом изолированным, менее легко вскрыть причины этого различия.

Чтобы хоть приблизительно найти эти причины, нужно прежде всего вспомнить факт, установленный современной психологией, а именно, что не в одной лишь органической жизни, но и в интеллектуальных функциях преобладающую роль играют бессознательные феномены. Сознательная умственная жизнь представляет собой лишь довольно незначительную часть бессознательной душевной жизни. Тончайший анализ, острейшее наблюдение способны обнаружить лишь малое количество сознательных мотивов душевной жизни. Наши сознательные действия исходят из созданного бессознательного субстрата в особенности под влиянием наследственности. Субстрат этот содержит в себе бесчисленные следы прародителей, следы, из которых создается расовая душа. За мотивами наших поступков, в которых мы признаемся, несомненно, существуют тайные причины, в которых мы не признаемся, а за ними есть еще бо-

лее тайные, которых мы даже и не знаем. Большинство наших повседневных поступков есть лишь воздействие скрытых, не замечаемых нами мотивов».

В массе, по мнению Лебона, стираются индивидуальные достижения отдельных людей и, тем самым, исчезает их своеобразие. Расовое бессознательно проступает на первый план, гетерогенное тонет в гомогенном. Мы сказали бы, что сносится, обессиливается психическая надстройка, столь различно развитая у отдельных людей, и обнажается (приводится в действие) бессознательный фундамент, у всех одинаковый.

Таким путем возник бы усредненный характер массовых индивидов. Лебон, однако, находит, что у этих индивидов наличествуют и новые качества, которыми они раньше не обладали, и ищет причины этого в трех различных моментах.

«Первая из этих причин состоит в том, что в массе, в силу одного только факта своей множественности, индивид испытывает чувство неодолимой мощи, позволяющее ему предаться первичным позывам, которые он, будучи в одиночестве, вынужден был бы обуздывать. Для обуздания их повода еще меньше, так как при анонимности, а тем самым, и безответственности масс, совершенно исчезает чувство ответственности, которое всегда сдерживает индивида».

Появлению новых качеств мы, с нашей точки зрения, придаем меньше значения. Для нас достаточно было бы сказать, что в массе индивид попадает в условия, разрешающие ему устранить вытеснение бессознательных первичных позывов. Эти якобы новые качества, которые он теперь обнаруживает, являются на самом деле как раз выявлением этого бессознательного, в котором в зародыше заключено все зло человеческой души; угасание при этих условиях совести или чувства ответственности нашего понимания не затрудняет. Мы давно утверждали, что зерно так называемой совести — «социальный страх».

«Вторая причина — заражаемость — также способствует проявлению у масс специальных признаков и определению их направленности. Заражаемость есть легко констатируемый, но необъяснимый феномен, который следует причислить к фено-

менам гипнотического рода, к изучению каковых мы тут же и приступим. В толпе заразительно каждое действие, каждое чувство, и при том в такой сильной степени, что индивид очень легко жертвует своим личным интересом в пользу интереса общества. Эго — вполне противоположное его натуре свойство, на которое человек способен лишь в качестве составной части массы».

Эту последнюю фразу мы возьмем впоследствии как обоснование для предположения большой значимости.

«Третья и притом важнейшая причина обуславливает у объединенных в массу индивидов особые качества, совершенно противоположные качествам индивида изолированного. Я имею в виду внушаемость, причем упомянутая заражаемость является лишь ее последствием.

Для понимания этого явления уместно восстановить в памяти новые открытия физиологии. Мы теперь знаем, что с помощью разнообразных процедур человека можно привести в такое состояние, что он после потери своей сознательной личности повинуется внушениям лица, лишившего его сознания своей личности, и что он совершает действия, самым резким образом противоречащие его характеру и навыкам. И вот самые тщательные наблюдения показали, что индивид, находящийся в продолжение некоторого времени в лоне активной массы, впадает вскоре вследствие излучений, исходящих от нее, или по какой-либо другой неизвестной причине в особое состояние, весьма близкое к “зачарованности”, овладевающей загипнотизированным человеком под влиянием гипнотизера. Сознательная личность совершенно утеряна, воля и способность различения отсутствуют, все чувства и мысли ориентированы в направлении, указанном гипнотизером.

Таково, приблизительно, и состояние индивида, принадлежащего к психологической массе. Он больше не осознает своих действий. Как у человека под гипнозом, так и у него известные способности могут быть изъяты, а другие доведены до степени величайшей интенсивности. Под влиянием внушения он в непреодолимом порыве приступит к выполнению определенных

действий. И это неистовство у масс еще непреодолимее, чем у загипнотизированного, ибо равное для всех индивидов внушение возрастает в силу их взаимодействия.

Следовательно, главные отличительные признаки находящегося в толпе индивида таковы: исчезновение сознательной личности, преобладание бессознательной личности, ориентация мыслей и чувств в одном и том же направлении вследствие внушения и заражения, тенденция к безотлагательному осуществлению внушенных идей. Индивид не является больше самим собой, он стал безвольным автоматом».

Я привел эту цитату так подробно, чтобы подтвердить, что Лебон действительно признает состояние индивида в толпе состоянием гипнотическим, а не только его с таким сравнивает. Мы не намереваемся с ним спорить, но хотим все же подчеркнуть, что последние две причины изменения отдельного человека в толпе, а именно: заражаемость и повышенная внушаемость — очевидно, не однородны, так как ведь заражение тоже должно быть проявлением внушаемости. Нам кажется, что и воздействия обоих моментов у Лебона недостаточно четко разграничены. Может быть, мы лучше всего истолкуем его высказывания, если отнесем заражение к влиянию друг на друга отдельных членов толпы, а явления внушения в толпе, равные феноменам гипнотического влияния, — к другому источнику. Но к какому? Тут мы замечаем явный пробел: у Лебона не упоминается центральная фигура сравнения с гипнозом, а именно лицо, которое массе людей заменяет гипнотизера. Но он все же указывает на различие между этим не разъясненным «зачаровывающим» влиянием и тем заражающим воздействием, оказываемым друг на друга отдельными индивидами, благодаря которому усиливается первоначальное внушение.

Приведем еще одну важную точку зрения для суждения о массовом индивиде: «Кроме того, одним лишь фактом своей принадлежности к организованной массе человек спускается на несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации. Будучи в одиночестве, он был, может быть, образованным индивидом, в массе он — варвар, то есть существо, обусловленное первич-

ными позывами. Он обладает спонтанностью, порывистостью, дикостью, а также и энтузиазмом, и героизмом примитивных существ». Затем Лебон особо останавливается на снижении интеллектуальных достижений, происходящем у человека при растворении его в массе.

Оставим теперь отдельного человека и обратимся к описанию массовой души в изложении Лебона. В нем нет моментов, происхождение и классификация которых затруднила бы психоаналитика. Лебон указывает нам путь, подтверждая соответствие между душевной жизнью примитивного человека и ребенка.

Масса импульсивна, изменчива и возбудима. Ею почти исключительно руководит бессознательное. Импульсы, которым повинуетя масса, могут быть, смотря по обстоятельствам, благородными или жестокими, героическими или трусливыми, но во всех случаях они столь довлеющи, что не дают проявляться не только личному интересу, но даже инстинкту самосохранения. Ничто у нее не бывает преднамеренным. Если она страстно желает чего-нибудь, то всегда ненадолго, она неспособна к постоянству воли. Она не выносит отсрочки между желанием и осуществлением желаемого. Она чувствует себя всемогущей, у индивида в массе исчезает понятие невозможного.

Масса легковерна и чрезвычайно легко поддается влиянию, она не критична, неправдоподобного для нее не существует. Она мыслит образами, порождающими друг друга ассоциативно, — как это бывает у отдельного человека, когда он свободно фантазирует, — образами, не выверяющимися рационально на соответствие с действительностью. Чувства толпы всегда просты и весьма гиперболичны. Масса, таким образом, не знает ни сомнений, ни неуверенности.

Масса немедленно доходит до крайности, высказанное подзрение сразу же превращается у нее в непоколебимую уверенность, зерно антипатии — в дикую ненависть.

Склонную ко всем крайностям массу возбуждают тоже лишь чрезмерные раздражения. Тот, кто хочет на нее влиять, не нуждается в логической проверке своей аргументации, ему подоба-

ет живописать ярчайшими красками, преувеличивать и всегда повторять то же самое.

Так как масса в истинности или ложности чего-либо не сомневается и при этом сознает свою громадную силу, она столь же нетерпима, как и подвластна авторитету. Она уважает силу, добротой же, которая представляется ей всего лишь разновидностью слабости, руководствуется лишь в незначительной мере. От своего героя она требует силы, даже насилия. Она хочет, чтобы ею владели и ее подавляли, хочет бояться своего господина. Будучи в основе своей вполне консервативной, она испытывает глубокое отвращение ко всем новшествам и прогрессу и безграничное благоговение перед традицией.

Для правильного суждения о нравственности масс следует принять во внимание, что при совместном пребывании индивидов в массе у них отпадают все индивидуальные тормозящие моменты и просыпаются для свободного удовлетворения первичных позывов все жестокие, грубые, разрушительные инстинкты, дремлющие в отдельной особи как пережитки первобытных времен. Но, под влиянием внушения, массы способны и на большое самоотречение, бескорыстие и преданность идеалу. В то время как у изолированного индивида едва ли не единственным побуждающим стимулом является личная польза, в массе людей этот стимул преобладает очень редко. Можно даже говорить о повышении нравственного уровня отдельного человека под воздействием массы. Хотя и интеллектуальные достижения массы всегда много ниже достижений отдельного человека, ее поведение может как намного превышать уровень индивида, так и намного ему уступить.

Некоторые другие черты в характеристике Лебона подтверждают право отождествить массовую душу с душой примитивного человека. У масс могут сосуществовать и согласоваться самые противоположные идеи, без того чтобы из их логического противоречия возник конфликт. То же самое мы находим в бессознательной душевной жизни отдельных людей, детей и невротиков, как это давно доказано психоанализом. Амбивалентные эмоциональные переживания маленького ребенка к близким

ему людям могут долгое время сосуществовать, причем выражение одного из них не мешает выражению противоположного. Если, наконец, все же возникает конфликт, то он разрешается тем, что ребенок меняет объект и переносит одно из амбивалентных душевных движений на другое лицо. Из истории развития невроза у взрослого человека мы также можем узнать, что подавленное душевное переживание часто долгое время продолжает жить в бессознательных и даже сознательных фантазиях, содержание которых, конечно, прямо противоположно доминирующему стремлению, причем эта противоположность не вызывает, однако, активного противодействия «Я» к тому, что было им отброшено. Это «Я» часто довольно долго потворствует фантазии. Но затем внезапно, обычно вследствие повышения аффективного характера фантазии, конфликт между фантазией и «Я» разверзается со всеми своими последствиями.

Далее, масса подпадает под поистине магическую власть слова, которое способно вызывать в массовой душе страшнейшие бури или же эти бури укрощать. «Логикой и доказательствами против определенных слов и формул борьбы не поведешь. Стоит их произнести с благоговением, как на физиономиях тотчас появляется почтение и головы склоняются». Многие усматривают в слове стихийные силы или силы сверхъестественные. Достаточно вспомнить о табу имен у примитивных народов, о магических силах, которые заключены для них в именах и словах.

И, наконец, массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых не могут жить. Ирреальное для них всегда имеет приоритет перед реальным, нереальное влияет на них почти так же сильно, как реальное. Массы имеют явную тенденцию как минимум не видеть между ними разницы.

Это преобладание фантазии, а также иллюзии, создаваемой не исполненным желанием, определяет, как мы утверждаем, психологию неврозов. Мы нашли, что для невротиков существенна не обычная объективная, а психическая реальность. Истерический симптом основывается на фантазии, а не на повторении действительного переживания, невротическая навязчивая идея сознания вины — на злом намерении, никогда не доходя-

щем до осуществления. Да, так же, как во сне и под гипнозом, проверка на реальность в душевной деятельности массы отступает перед интенсивностью аффективных, порожденных желанием импульсов».

Мысли Лебона о вождях масс изложены менее исчерпывающим образом, и закономерности остаются недостаточно выясненными. Он думает, что, как только живые существа собраны воедино в определенном количестве, все равно, будь то стадо животных или человеческая толпа, они инстинктивно подчиняются вожаку. Масса — послушное стадо, которое не в силах жить без господина. У нее такая жажда подчинения, что она инстинктивно подчиняется каждому, кто назовет себя ее властелином.

Хотя потребность массы идет вождю навстречу, он все же должен соответствовать этой потребности своими личными качествами. Он должен быть сам захвачен глубокой верой (в идею), чтобы пробудить эту веру в массе; он должен обладать сильной харизмой, которую переймет от него безвольная масса. Далее Лебон обсуждает разновидности вождей и средства, которыми они влияют на массы. В общем, он считает, что вожди становятся влиятельными благодаря тем идеям, к которым сами они относятся фанатически.

Этим идеям, как и вождям, он приписывает помимо этого таинственную, неотразимую власть, называемую им «авторитетом». Авторитет есть своего рода господство, которое возымел над ними индивид, деяние или идея. Оно полностью парализует нашу способность к критике и наполняет нас удивлением и уважением. Оно вызывает, очевидно, чувство, похожее на завороченность гипнозом.

Лебон различает приобретенный, или искусственный, и личный авторитет. Первый, когда речь идет о людях, присваивается благодаря имени, богатству, репутации, когда же речь заходит о воззрениях, художественных произведениях и т. п., — авторитет завоевывается посредством традиции. Так как во всех случаях авторитет строится на прошлых заслугах, то это загадочное влияние прошлого трудно понять. Авторитетом обладают немно-

гие люди, и благодаря ему они становятся вождями. Авторитет подчиняет им всех и вся, как бы воздействуя на них волшебными чарами. Однако авторитет зависит от успехов личности и теряется, если ее преследуют неудачи.

Надо отметить, что у нас складывается впечатление, что роль вождя и авторитета рассматриваются у Лебона не столь убедительно, как выполненная им поистине блестяще характеристика массовой души.

III. ДРУГИЕ ОЦЕНКИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ДУШЕВНОЙ ЖИЗНИ

Анализ Лебона бессознательной душевной жизни взят нами за основу и использован в качестве введения, так как его характеристика массового сознания совпадает с нашими взглядами. Но теперь нужно добавить, что, в сущности, ни одно утверждение этого автора не содержит ничего абсолютно нового. Все, что он говорит отрицательного и дискредитирующего о проявлениях массовой души, так же определенно и так же непредвзято говорили до него и другие, все это повторяется примерно в том же духе с древнейших времен мыслителями, государственными деятелями и поэтами. Оба тезиса, содержащие наиболее важные взгляды Лебона, а именно — о торможении коллективом интеллектуальной деятельности и о повышении в людской массе аффективности — были незадолго до него сформулированы, например, Зигеле. В сущности, Лебону лично принадлежит только точка зрения на бессознательное и сравнение массовой психологии с душевной жизнью первобытных людей, но и на эту тему неоднократно высказывались до него и другие.

Более того: описание и оценка массового сознания Лебон и другими весьма часто подвергались критике. Нет сомнения, что они правильно оценивали все вышеописанные феномены массового сознания, однако можно заметить и другие, как раз противоположно действующие проявления массообра-

зования, приводящие нас к гораздо более высокой оценке массового сознания.

Ведь и Лебон готов был признать, что нравственный облик людской массы в иных случаях бывает выше, чем нравственность составляющих ее индивидов, и что только совокупность людей способна к высокому бескорыстию и преданности.

«В то время как у изолированного индивида едва ли не единственным побуждающим стимулом является личная польза, в массе людей этот стимул преобладает очень редко».

Некоторые авторы заявляют, что, в сущности, только общество является тем, что предписывает человеку нормы его нравственности, отдельный же человек, как правило, от этих высоких требований так или иначе отстает.

Кроме того, в исключительных обстоятельствах в коллективе возникает энтузиазм, благодаря которому совершаются замечательнейшие массовые подвиги.

Что касается интеллектуальных достижений, то все же продолжает оставаться неоспоримым, что великие открытия интеллектуальной работы и разрешение крупных проблем подвластны лишь отдельному человеку, трудящемуся в уединении. Но и массовая душа способна на гениальное духовное творчество, и это прежде всего доказывает сам язык, а также народная песня, фольклор и т. д. И кроме того, остается нерешенным, насколько мыслитель или поэт обязан стимулам, полученным им от массы, среди которой он живет, и не подводит ли он скорее итог той душевной работы, в которой одновременно участвовали и другие.

Ввиду этой полной противоречивости может показаться, что работа массовой психологии не должна увенчаться успехом. А между тем есть обнадеживающие моменты, которые нетрудно найти. Вероятно, в понятие «масс» были включены весьма различные образования, которые нуждаются в разграничении. Данные Зигеле, Лебона и других анализируют массы недолговечного рода, т. е. такие, которые быстро собираются из разнородных индивидов, объединяемых каким-нибудь преходящим интересом. Совершенно очевидно, что на исследования этих

авторов повлиял характер революционных масс, особенно времен Великой французской революции. Противоположные утверждения исходят из оценки тех устойчивых масс или общественных образований, в которых люди живут и работают. Массы первого рода являются как бы надстройкой над массами второго рода, подобно кратким, но высоким морским волнам над длительной мертвой зыбью.

Макдугалл в своей книге «The group Mind» (Cambridge, 1920)* исходит из этого вышеупомянутого противоречия и находит его разрешение, анализируя организационный момент. В простейшем случае, говорит он, масса (group) вообще не имеет никакой или почти никакой организации. Он называет такую массу толпой (crowd). Однако признает, что толпа людская едва ли может образоваться без того, чтобы в ней не появились хотя бы первые признаки организации, и что как раз у этих простейших масс особенно легко заметить некоторые основные факты коллективной психологии. Для того чтобы из случайно собравшихся членов людской толпы образовалось нечто вроде массы в психологическом смысле, необходимо условие, чтобы эти отдельные единицы имели между собой что-нибудь объединяющее: общий интерес, аналогичную при известной ситуации душевную направленность и, вследствие этого, известную степень способности влиять друг на друга. Чем сильнее это духовное единство, тем легче из отдельных людей образуется психологическая масса и тем более наглядны проявления «массовой души».

Самым удивительным и вместе с тем важным феноменом массы является повышение аффективности, проявляющееся в каждом отдельном ее члене. Можно сказать, по мнению Макдугалла, что аффекты отдельного человека едва ли дорастают до такой степени, как это бывает в массе, а кроме того, для каждого члена толпы является наслаждением безудержно предаваться своим страстям, при этом растворяясь в массе, теряя чувство своей индивидуальной обособленности. Макдугалл объясняет эту захваченность индивидов в общий поток особым, т. е. уже знакомым нам эмоциональным заражением. Кроме того,

замечено, что наблюдаемые признаки состояния аффекта способны автоматически вызвать у наблюдателя тот же самый аффект. Это автоматическое принуждение тем сильнее, чем больше количество лиц, в которых одновременно наблюдается проявление того же аффекта. Тогда замолкает критическая способность личности и человек отдается аффекту. Но при этом вновь присоединившиеся повышают возбуждение у тех, кто вначале на них повлияли и таким образом аффективный заряд отдельных лиц повышается взаимной индукцией. При этом, несомненно, возникает нечто вроде потребности подражать другим, оставаться в созвучии с «множеством». У более грубых и элементарных чувств — наибольшие перспективы распространяться в массе именно таким образом.

Этому механизму возрастания аффекта благоприятствуют и некоторые другие исходящие от массы влияния. Масса производит на отдельного человека впечатление неограниченной мощи и непреодолимой опасности. На мгновение она заменяет все человеческое общество, являющееся носителем авторитета, наказаний которого страшились и во имя которого себя столь ограничивали. Совершенно очевидна опасность массе противоречить, и можно себя обезопасить, следуя окружающему тебя примеру, то есть иной раз даже «по волчьим воям», т. е. против собственного желания. Подчиняясь новому авторитету, индивид может выключить свою прежнюю совесть, предавшись при этом соблазну наслаждения, безусловно испытываемому при отбрасывании торможения. Поэтому не столь уж удивительно, если мы наблюдаем человека, в массе совершающего или приветствующего действия, от которых он в своих привычных условиях отвернулся бы. Мы вправе надеяться, что благодаря этим наблюдениям рассеем тьму, обычно окутывающую загадочное слово «внушение».

Макдугалл не оспаривает тезиса о коллективном снижении интеллекта масс. Он говорит, что более низкие интеллекты снижают более высокие до своего уровня. Деятельность последних затруднена, так как нарастание аффективности вообще создает неблагоприятные условия для правильной духовной работы;

имеет влияние и то, что отдельный человек запуган массой и его мыслительная работа несвободна; а кроме того, в массе понижается сознание ответственности отдельного человека за свои действия.

Окончательное суждение о психической деятельности простой «неорганизованной» массы у Макдугалла не более благосклонно, чем у Лебона. Такая масса крайне возбудима, импульсивна, страстна, неустойчива, непоследовательна и нерешительна и притом в своих действиях всегда готова к крайностям, ей доступны лишь грубые страсти и элементарные чувства, она чрезвычайно сильно поддается внушению, рассуждает легкомысленно, опрометчива в суждениях и способна воспринимать лишь простейшие и наименее обоснованные выводы и аргументы, массу легко направлять и легко ее потрясти, она лишена самосознания, самоуважения и чувства ответственности, но дает сознанию собственной мощи толкать ее на такие злодеяния, какие мы можем ожидать лишь от абсолютной и безответственной власти. Она ведет себя скорее как невоспитанный ребенок или как оставшийся без надзора страстный дикарь, попавший в чуждую для него обстановку; в худших случаях ее поведение больше похоже на поведение стаи диких животных, чем на поведение человеческих существ.

Так как Макдугалл противопоставляет поведение высоко организованной массы описанному выше, нам будет чрезвычайно интересно, в чем же состоит эта организация и какими моментами она создается. Автор насчитывает пять таких «principal conditions»* поднятия душевной жизни массы на более высокий уровень.

Первое основное условие — известная степень постоянства состава массы. Масса может быть стихийной или организованной. Первый случай — если те же лица остаются в массе более продолжительное время, второй — если внутри самой массы создаются известные должности, на которые последовательно назначаются сменяющие друг друга лица. Второе условие в том, чтобы отдельный человек массы составил себе определенное представление о природе, функциях, достижениях и требованиях массы, чтобы таким образом у него создалось эмоциональное отношение к массе как целому.

Третье — чтобы масса вступила в отношения с другими сходными, но во многих случаях и отличными от нее массовыми образованиями, чтобы она даже соперничала с ними.

Четвертое — наличие в массе традиций, обычаев и установлений, особенно таких, которые касаются отношений членов массы между собой.

Пятое — наличие в массе подразделений, выражающихся в специализации и дифференциации работы каждого отдельного человека.

Согласно Макдугаллу, осуществление этих условий устраняет психические дефекты образования массы. Защита против снижения коллективом достижений интеллигенции — в отстранении массы от решения интеллектуальных заданий и в передаче их отдельным выбранным лицам.

Нам кажется, что условие, которое Макдугалл называет организацией массы, с большим основанием можно было бы описать иначе. Задача состоит в том, чтобы придать массе именно те качества, которые были характерны для отдельного индивида и были потушены у него при включении в массу. Ведь у индивида вне массы был свой характер и самосознание, свои традиции и привычки, своя рабочая производительность и свое место; он держался обособленно от других и с ними соперничал. Это своеобразие он потерял на некоторое время своим включением в не «организованную» массу. Если признать целью развитие в массе качеств отдельного индивида, то невольно припоминается содержательное замечание В. Троттера, который в тенденции к образованию масс видит биологическое продолжение многоклеточности всех высших организмов.

IV. ВНУШЕНИЕ И ЛИБИДО

Мы исходили из основного факта, что в индивиде, находящемся в массе, под ее влиянием часто происходят глубокие изменения его душевной деятельности. Его аффективность чрезвычайно повышается, а его интеллектуальные достижения заметно

понижаются, и оба процесса происходят, по-видимому, в направлении уравнивания себя с другими индивидами, входящими в массу. Этот результат может быть достигнут лишь в том случае, если индивид перестанет тормозить свойственные ему первичные позывы и откажется от удовлетворения своих склонностей привычным для него образом. Мы слышали, что эти часто нежелательные последствия хотя бы частично могут быть устранены более высокой организацией массы, но это не опровергает основного факта массовой психологии — обоих тезисов о повышении аффектов и снижении мыслительной работы в примитивной массе. Нам интересно найти психологическое объяснение душевного изменения, происходящего в отдельном человеке под влиянием массы.

Рациональные моменты, как, например, вышеупомянутая запуганность отдельного человека, т. е. действие его инстинкта самосохранения, очевидно, не покрывают наблюдаемых феноменов. Авторы по социологии и массовой психологии предлагают нам обычно в качестве объяснения одно и то же, хотя и подменяющимися друг друга названиями, а именно: магическое слово «внушение». Тард* назвал его «подражанием», но мы больше соглашаемся с автором, который поясняет, что подражание включено в понятие внушения и представляет собой лишь его следствие. Лебон все непонятное в социальных явлениях относит к действию двух факторов: к взаимному внушению отдельных лиц и к авторитету вождей. Но авторитет опять-таки проявляется лишь в способности производить внушение. Следуя Макдугаллу, мы одно время думали, что его принцип «первичной индукции аффекта» делает излишним принятие факта внушения. Но при дальнейшем рассмотрении нам придется убедиться, что этот принцип возвращает нас к уже известным понятиям «подражания» или «заражения», только с определенным подчеркиванием аффективного момента. Нет сомнения, что у нас имеется тенденция впадать в тот аффект, признаки которого мы замечаем в другом человеке, но как часто мы с успехом сопротивляемся этой тенденции, отвергаем аффект, как часто реагируем совсем противоположным образом? Так

почему же мы, как правило, поддаемся этому заражению в массе? Приходится опять-таки сделать вывод, что это внушающее влияние массы; оно принуждает нас повиноваться тенденции подражания, оно индуцирует в нас аффект. Впрочем, читая Макдугалла, мы вообще не можем обойтись без понятия внушения. И он, и другие повторяют, что массы отличаются особой внушаемостью.

Все вышесказанное подготавливает утверждение, что внушение (вернее, восприятие внушения) является нерасторжимым прафеноменом, основным фактом душевной жизни человека. Так считал и Бернгейм*, изумительное искусство которого я имел случай наблюдать в 1889 г. Но и тогда я видел глухое сопротивление этой тирании внушения. Когда больной сопротивлялся и на него кричали: «Да что же вы делаете? (*Vous vous contresuggestionnez*)», то я говорил себе, что это явная несправедливость и насилие. Человек имеет полное право на противовнушение, если его пытаются подчинить путем внушения. Мой протест принял затем форму возмущения против того, что внушение, которое все объясняет, само должно быть от объяснений избавлено. По поводу внушения я повторял давний шуточный вопрос:

Христофор несет Христа,
А Христос — весь мир,
Скажи-ка, а куда
Упиралась Христофорова нога?

Когда теперь, после почти тридцатилетнего перерыва, я снова обращаюсь к загадке внушения, то нахожу, что ничего тут не изменилось. Утверждая это, я ведь имею право не учитывать одно исключение, доказывающее как раз влияние психоанализа. Я вижу, что сейчас прилагают особые усилия, чтобы правильно сформулировать понятие внушения, т. е. общепринятое значение этого слова; это отнюдь не излишне, так как оно все чаще употребляется в расширенном значении и скоро будет обозначать любое влияние; в английском языке, например, *to suggest*,

suggestion соответствует нашему «настоятельно предлагать» и нашему «толчок к чему-нибудь». Но до сих пор не дано объяснения сущности «внушения», т. е. тех условий, при которых влияние возникает без достаточных логических обоснований. Я мог бы подкрепить это утверждение анализом литературы за последние тридцать лет, но надобность в этом отпадает, так как мне стало известно, что подготавливается к изданию обширный труд, ставящий себе именно эту задачу.

Вместо этого я сделаю попытку применить для уяснения массовой психологии понятие либидо, которое сослужило нам такую службу при изучении психоневрозов.

Либидо есть термин из области учения об аффективности. Мы называем так энергию тех первичных позывов, которые имеют дело со всем тем, что можно обобщить понятием любви. Мы представляем себе эту энергию как количественную величину — хотя в настоящее время еще неизмеримую. Суть того, что мы называем любовью, есть, конечно, то, что обычно называют любовью и что воспевается поэтами, — половая любовь с конечной целью полового совокупления. Мы, однако, не исключаем всего того, что вообще в какой-либо мере связано с понятием любви, т. е. с одной стороны — любовь к себе, с другой стороны — любовь родителей, любовь детей, дружбу и общечеловеческую любовь, не исключаем и преданности конкретным предметам или абстрактным идеям. Наше оправдание в том, что психоанализ научил нас рассматривать все эти стремления как выражение одних и тех же побуждений первичных позывов, влекущих два пола к половому совокуплению, при иных обстоятельствах от сексуальной цели оттесняемых или на пути к ее достижению приостанавливаемых, в конечном же итоге всегда сохраняющих свою первоначальную природу в степени, достаточной для того, чтобы обнаруживать свое тождество (самопожертвование, стремление к сближению).

Мы, таким образом, думаем, что словом «любовь» в его многообразных применениях язык создал вполне оправданное сообщение и что мы с успехом можем применять это слово в наших научных обсуждениях и повествованиях. Принятием этого

решения психоанализ вызвал бурю возмущения, как если бы он был повинен в кощунственном нововведении. А между тем, этим «расширенным» пониманием любви психоанализ не создал ничего оригинального. В своем происхождении, действии и отношении к половой любви Эрос Платона совершенно конгруэнтен нашему понятию любовной силы психоаналитического либидо. В частности, это доказали Нахмансон и Пффистер*, а когда апостол Павел в знаменитом «Послании к Коринфянам» превыше всего прославляет любовь, он понимает ее, конечно, именно в этом «расширенном» смысле, из чего следует, что люди не всегда серьезно относятся к своим великим мыслителям, даже якобы весьма ими восхищаясь.

Эти первичные любовные позывы психоанализ *aposteriori** и с момента их возникновения называет первичными сексуальными позывами. Большинство «образованных» восприняло такое наименование как оскорбление и отомстило за это, бросив психоанализу упрек в «пансексуализме». Кто видит в сексуальном нечто постыдное и унижительное для человеческой природы, волен, конечно, пользоваться более аристократическими выражениями — эрос и эротика. Я бы и сам с самого начала мог так поступить, избегнув таким образом множества упреков. Но я не хотел этого, так как я по мере возможности избегаю робости. Никогда не известно, куда таким образом попадешь. Сначала уступишь на словах, а постепенно и по существу. Я не могу согласиться с тем, что стыд перед сексуальностью — заслуга; ведь греческое слово «эрос», которому подобает смягчить предосудительность секса, есть не что иное, как перевод нашего слова «любовь»; и, наконец, тот, на кого работает время, может уступок не делать.

Итак, мы попытаемся начать с предпосылки, что любовные отношения (выражаясь безлично — эмоциональные связи) представляют собой также и сущность массовой души. Напомним, что авторы о таковых не говорят. То, что им бы соответствовало, очевидно, скрыто за ширмой — перегородкой — внушения. Наши ожидания пока основываются на двух сразу приходящих в голову соображениях. Во-первых, что масса,

очевидно, объединяется некоей силой. Но какой же силе можно, скорее всего, приписать это действие, как не эросу, все в мире объединяющему? Во-вторых, когда отдельный индивид теряет свое своеобразие и позволяет другим на себя влиять, в массе создается впечатление, что он делает это, потому что в нем существует потребность быть скорее в согласии с другими, а не в противоборстве, т. е., может быть, все-таки «из любви» к ним.

V. ДВЕ ИСКУССТВЕННЫЕ МАССЫ: ЦЕРКОВЬ И ВОЙСКО

Припомним из морфологии масс, что можно наблюдать очень различные виды, а также противоположные направления в развитии масс. Есть однородные массы и в высшей степени постоянные; гомогенные, состоящие из одинаковых индивидов, и негомогенные; естественные и искусственные, которым для сплоченности нужно также внешнее принуждение; примитивные и высокоорганизованные, с четкими подразделениями. По некоторым основаниям — понимание которых пока неясно — мы хотели бы особо отметить различие, на которое другие авторы обращали, пожалуй, слишком мало внимания; я имею в виду различие между массами, где вождь отсутствует, и массами, возглавляемыми вождями. Вопреки обыкновению, мы начнем наше исследование не с относительно простых, а с высокоорганизованных, постоянных, искусственных масс. Наиболее интересными примерами таких массовых образований являются церковь, объединение верующих, и армия, войско.

И церковь, и войско представляют собой искусственные массы, т. е. такие, где необходимо известное внешнее принуждение, чтобы удержать их от распада и задержать изменения их структуры. Как правило, никого не спрашивают или никому не предоставляют выбора, хочет ли он быть членом такой массы или нет; попытка выхода обычно преследуется или строго наказывается, или же выход связан с совершенно определенными условиями. Нас в настоящий момент совсем не интересует, по-

чему именно эти общественные образования нуждаются в такой особой охране. Нас привлекает лишь то, что в этих высокоорганизованных, тщательно защищенных от распада массах с большой отчетливостью выявляются известные взаимоотношения, которые гораздо менее ясны в других.

В церкви (мы с успехом можем взять для примера католическую церковь), как и в войске, — как бы различны они ни были в остальном — культивируется одно и то же обманное представление (иллюзия), а именно, что имеется верховный властитель (в католической церкви Христос, в войске — полководец), каждого отдельного члена массы любящий равной любовью. На этой иллюзии держится все; если ее отбросить, распадутся тотчас же, поскольку это допустило бы внешнее принуждение, как церковь, так и войско. Об этой равной любви Христос заявляет совершенно определенно: «Что сотворите единому из малых сих, сотворите Мне». К каждому члену этой верующей массы Он относится как добрый старший брат, является для них заменой отца. Все требования, предъявляемые к отдельным людям, являются выводом из этой любви Христовой. Церковь проникнута демократическим духом именно потому, что перед Христом все равны, все имеют равную часть Его любви. Не без глубокого основания подчеркивается сходство церкви с семьей, и верующие называют себя братьями во Христе, т. е. братьями по любви, которую питает к ним Христос. Нет никакого сомнения, что связь каждого члена церкви с Христом является одновременно и причиной связи между членами массы. То же самое относится и к войску; полководец — отец, одинаково любящий всех своих солдат, и поэтому они сотоварищи. В смысле структуры войско отличается от церкви тем, что состоит из ступенчатого построения масс. Каждый капитан в то же время и полководец и отец своей роты, каждый фельдфебель — своего взвода. Правда, и церковь выработала подобную иерархию, но она не играет в ней той же экономической роли, так как за Христом можно признать больше осведомленности и озабоченности об отдельном человеке, чем за полководцем-человеком. Против этого понимания либидозной структуры

армии нам, конечно, по праву возразят, что здесь не отводятся места идеям отечества, национальной славы и другим, столь важным для спаянности армии. Мы отвечаем, что это иной, не столь простой случай объединения в массу, и, как показывают примеры великих военачальников — Цезаря, Валленштейна и Наполеона, — такие идеи для прочности армии не обязательны. О возможной замене вождя вдохновляющей идеей и соотношениях между обоими мы коротко скажем ниже. Пренебрежение к этому либидозному фактору в армии, даже в том случае, если действенным является не он один, кажется нам не только теоретическим недостатком, но и практической опасностью. Прусский милитаризм, который был столь же непсихологичен, как и немецкая наука, может быть, убедился в этом во время Первой мировой войны. Военные неврозы, разложившие германскую армию, признаны по большей части выражением протеста отдельного человека против роли, которая отводилась ему в армии. Согласно сообщениям Э. Зиммеля, можно утверждать, что среди причин, вызывавших заболевания, наиболее частой было черствое обращение начальников с рядовым человеком из народа. При лучшей оценке этого требования либидо не столь легко заставили бы, очевидно, в себя поверить невероятные обещания четырнадцати пунктов, сделанные американским президентом, и великолепный инструмент не сломался бы в руках германских военных «искусников».

Отметим, что в этих двух искусственных массах каждый отдельный человек либидозно связан, с одной стороны, с вождем (Христом, полководцем), а с другой стороны — с другими массовыми индивидами. Каково взаимоотношение этих двух связей, однородны ли они и равноценны, и как их следовало бы описать психологически — будет делом дальнейшего исследования. Но мы осмеливаемся уже теперь слегка упрекнуть других авторов за недооценку значения вождя для психологии масс. Наш собственный выбор первого объекта исследования поставил нас в гораздо более выгодное положение. Нам кажется, что мы стоим на правильном пути, который может разъяснить главное явление массовой психологии — несвободу отдельного человека

в массе. Если каждый отдельный индивид в такой широкой степени эмоционально связан в двух направлениях, то из этого условия нам нетрудно будет вывести наблюдаемое изменение и ограничение его личности.

Сущностью массы являются ее либидозные связи, на это указывает и феномен паники, который лучше всего изучать на военных массах. Паника возникает, когда масса разлагается. Сущность паники в том, что ни один приказ начальника не удостоивается более внимания и каждый печется о себе, с другими не считаясь. Взаимные связи прекратились, и безудержно вырывается на свободу гигантский бессмысленный страх. Конечно, и здесь легко возразить, что происходит как раз обратное: страх возрос до такой степени, что оказался сильнее всех связей и забот о других. Макдугалл даже приводит момент паники (правда, не военной) как образец подчеркнутого им повышения аффектов через заражение. Но здесь этот рациональный способ объяснения совершенно ошибочен. Ведь нужно объяснить, почему именно страх столь гигантски возрос. Нельзя взваливать вину на степень опасности, так как та же армия, теперь охваченная паникой, безукоризненно противостояла подобной и даже большей опасности; именно в этом и состоит сущность паники, что она непропорциональна грозящей опасности, часто вспыхивая по ничтожнейшему поводу. Если в момент панического страха отдельный человек начинает печься только лишь о себе самом, то этим он доказывает, что аффективные связи, до этого для него опасность снижавшие, прекратились. Теперь, когда он с опасностью один на один, он, конечно, оценивает ее выше. Суть, следовательно, в том, что панический страх предполагает ослабление либидозной структуры массы и вполне оправданно на это ослабление реагирует, а никак не в том, будто бы либидозные связи массы гибнут от страха перед опасностью.

Эти замечания отнюдь не противоречат утверждению, что страх в массе возрастает до чудовищных размеров вследствие индукции (заражения). Точка зрения Макдугалла безусловно справедлива для случая, когда сама опасность реально велика

и когда масса не связана сильными эмоциями. Как пример можно привести пожар в театре или другом увеселительном месте. Для нас же важен приведенный пример, когда воинская часть охватывается паникой, а между тем опасность не больше привычной и до этого неоднократно этой же воинской частью стойко переносилась. Нельзя сказать, что значение слова «паника» установлено раз и навсегда четко и ясно. Иногда так называют всякий массовый страх, а иногда страх отдельного человека, если этот страх переходит все пределы, а часто это название применяется в том случае, если вспышка страха поводом не оправдана. Если взять слово «паника» в смысле массового страха, можно установить широкую аналогию. Страх у индивида вызывается или размерами опасности, или прекращением связей (либидозной заряженности). Последнее есть случай невротического страха. Таким же образом паника возникает при усилении грозящей всем опасности или из-за прекращения объединяющих массу эмоциональных связей, и этот последний случай аналогичен невротическому страху (ср. глубокую по мысли, но несколько фантастическую статью Б. фон Фелседа «Паника и панический комплекс», журнал «Imago» («Образ»), VI, 1920).

Если согласиться с Макдугаллом, считающим панику одним из самых четких результатов «group mind», приходишь к парадоксу, что эта массовая душа в одном из самых разительных своих проявлений самое себя уничтожает. Не может быть сомнения, что паника означает разложение массы. Следствием же является прекращение всякого учета чужих интересов, обычно делающегося отдельными членами массы по отношению друг к другу.

Типичный повод для взрыва паники приблизительно таков, как его описывает Нестрой в пародии на драму Хеббеля* «Юдифь и Олоферн». Воин кричит: «Полководец лишился головы!», и сразу все ассирийцы обращаются в бегство. Потеря полководца, психоз по случаю потери порождает панику, причем опасность остается той же; если порывается связь с вождем, то, как правило, порываются и взаимные связи между индиви-

дами. Масса рассыпается, как рассыпается при опыте болонская склянка, у которой отломали хвостик.

Не так легко наблюдать разложение религиозной массы. Недавно мне попался английский роман «When it was dark»*, написанный католиком и рекомендованный мне лондонским епископом. Возможность такого разложения и его последствия описываются весьма искусно и, на мой взгляд, правдиво. Перенос нас в далекое прошлое, роман повествует, как заговорщикам, врагам имени Христова и христианской веры, удастся якобы обнаружить в Иерусалиме гробницу со словами Иосифа Аримафейского, сознающего, что из благоговейных побуждений на третий день после погребения он тайно извлек тело Христа из гроба и похоронил именно здесь. Этим раз навсегда покончено с верой в Воскресение Христа и Его Божественную природу, а влечет это археологическое открытие за собой потрясение всей европейской культуры и чрезвычайное возрастание всякого рода насилий и преступлений, что прекращается лишь с раскрытием заговора фальсификаторов.

При этом предполагаемом разложении религиозной массы обнаруживается не страх, для которого нет повода, а жестокие и враждебные импульсы к другим людям, что раньше не могло проявляться, благодаря равной ко всем любви Христа. Однако вне этой связи взаимной любви и во времена Царства Христова стоят те индивиды, которые не принадлежат к общине верующих, которые Христа не любят и Им не любимы; поэтому религия, хотя она и называет себя религией любви, должна быть жестокой и черствой к тем, кто к ней не принадлежит. В сущности, ведь каждая религия является такой религией любви по отношению ко всем, к ней принадлежащим, и каждая религия склонна быть жестокой и нетерпимой к тем, кто к ней не принадлежит. Не нужно, как бы трудно это ни было в личном плане, слишком сильно упрекать за это верующих, в данном случае психологически гораздо легче приходится неверующим и равнодушным. Если в наше время нетерпимость и не проявляется столь насильственно и жестоко, как в минувших столетиях, то все же едва ли можно увидеть в этом смягчение человеческих

нравов. Скорее всего следует искать причину этого в неопровержимом ослаблении религиозных чувств и зависящих от них либидозных связей. Если вместо религиозной появится какая-либо иная связь, объединяющая массу, как это сейчас, по видимому, удастся социализму, в результате возникнет та же нетерпимость к вносящим, как и во времена религиозных войн, и если бы разногласия научных воззрений могли когда-нибудь приобрести для масс подобное же значение, и такая мотивировка увенчалась бы тем же результатом.

VI. ДАЛЬНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

До сих пор мы исследовали две искусственные массы и нашли, что в них действует два вида эмоциональных связей, из которых первая — связь с вождем — играет, по крайней мере для этих масс, более определяющую роль, чем вторая, — связь массовых индивидов между собой.

В морфологии масс есть еще много вопросов, которые нужно было бы исследовать и описать. Можно было бы исходить из факта, что простая человеческая толпа еще не есть масса, пока в ней не установились вышеуказанные связи; однако нужно было бы признать, что в любой человеческой толпе очень легко возникает тенденция к образованию психологической общности. Нужно было бы обратить внимание на различные, спонтанно образующиеся, более или менее постоянные массы, и изучить условия их возникновения и распада. Больше всего нас заинтересовала бы разница между массами, имеющими вождя, и массами, где вождь отсутствует. Кроме того, хорошо бы выяснить, являются ли те массы, где имеется вождь, более сплоченными и более совершенными? Неплохо бы задаться вопросом, не может ли вождь в массах второго рода быть заменен абстрактной идеей, к чему идут религиозные массы с их невидимым вождем. И может ли общая тенденция, желание, объединяющее множество людей, быть заменой реального вождя? Это

абстрактное начало опять-таки более или менее совершенно могло бы воплотиться в лице, так сказать, вторичного вождя, и из взаимоотношений между вождем и идеей вытекалы бы разнообразны и интересные моменты. Вождь или ведущая идея могли бы стать, так сказать, негативными; ненависть к определенному лицу или учреждению могла бы подействовать столь же объединяюще и вызвать похожие эмоциональные связи, как и позитивная установка. Тогда возник бы вопрос, действительно ли так необходим вождь для объединения массы, и многие другие вопросы. Но все эти вопросы, которые частично могут обсуждаться и в литературе о массовой психологии, не смогут отвлечь нашего внимания от основных психологических проблем, которые заключены в структуре массы. Нас прежде всего увлекает одно соображение, которое обещает нам доказать кратчайшим путем, что именно либидозные связи характеризуют массу.

Мы стараемся уяснить себе, каково в общем отношение людей друг к другу в аффективной сфере. Согласно знаменитому сравнению Шопенгауэра о мерзнущих дикобразах, ни один человек не переносит слишком интимного приближения другого человека. По свидетельству психоанализа, почти каждая продолжительная интимная эмоциональная связь между двумя людьми — как то: брачные отношения, дружба, отношения между родителями и детьми — содержит осадок отвергающих враждебных чувств, которые не доходят до сознания лишь вследствие вытеснения. Это более неприкрыто в случаях, где компаньон не в ладах с другими компаньонами, где каждый подчиненный ворчит на своего начальника. То же самое происходит, когда люди объединяются в большие группы. Каждый раз, когда две семьи рождаются через брак, каждая из них, в противовес другой, считает себя лучше или аристократичнее. Каждый из двух соседних городов становится недоброжелательным соперником другого; каждый кантончик смотрит с пренебрежением, свысока на другой. Родственные, близкие между собой народные ветви отталкиваются друг от друга — южный немец не выносит северянина, англичанин клеветает на шотландца, испанец

презирает португальца. То, что при больших различиях возникает трудно преодолимая антипатия — галла к германцу, арийца к семиту, белого к цветному, — нас перестало удивлять.

Когда вражда направляется против любимых лиц, мы называем это амбивалентностью чувств и, конечно, слишком рационалистически объясняем ее многочисленными поводами к конфликтам интересов, которые создаются именно при столь интимных отношениях. В неприкрыто проявляющихся отталкиваниях и антипатиях к близким мы узнаем выражение себялюбия, нарциссизма, добивающегося своей самостоятельности и ведущего себя так, будто случай отклонения от его индивидуальных форм уже есть критика последних и заключает вызов в себе их изменить. Почему столь велика чувствительность именно к этим подробностям дифференциации, мы не знаем; несомненно, однако, что в этом поведении людей проявляется готовность к ненависти, агрессивность, происхождение которой неизвестно и которой хотелось бы приписать примитивный характер.

Вся эта нетерпимость, однако, исчезает, кратковременно или на долгий срок, при возникновении массы и в массе. Пока продолжается соединение в массу и до пределов его действия, индивиды ведут себя как однородные, терпят своеобразие другого, равняются и не испытывают к нему чувства отталкивания. Согласно нашим теоретическим воззрениям, такое ограничение нарциссизма может быть порождено только одним моментом, а именно — либидозной связью с другими людьми. Себялюбие находит преграду лишь в чужелюбии, в любви к объектам. Тотчас же будет поставлен вопрос, не должна ли общность интересов, сама по себе и без всякого либидозного вклада, привести к проявлению терпимости к другому и к вниманию к его интересам. На это выражение мы отвечаем, что таким путем существенное ограничение нарциссизма все-таки не длительно, так как эта терпимость будет продолжаться не дольше, чем продолжается непосредственная выгода от сотрудничества с другим. Практическая ценность этого спорного вопроса, однако, меньше, чем можно было бы ожидать, так как опыт показал, что

в случае сотрудничества между товарищами обычно устанавливаются либидозные связи, которые определяют и продолжают отношения товарищей далеко за пределами выгоды. В социальных отношениях людей происходит то же самое: психоаналитическое исследование вскрыло это в ходе развития индивидуального либидо. Либидо опирается на удовлетворение основных жизненных потребностей и избирает их участниками своими первыми объектами. И как у отдельного человека, так и в развитии всего человечества только любовь, как культурный фактор, действовала в смысле поворота от эгоизма к альтруизму. Это касается не только половой любви к женщине, со всеми из нее вытекающими необходимостями беречь то, что женщина любит, но и десексуализированной, сублимированной гомосексуальной любви к другому мужчине, любви, связанной с общей работой. Если, таким образом, в массе появляются ограничения нарциссического себялюбия, которые вне ее не действуют, то это убедительное указание на то, что сущность массообразования заключается в нового рода либидозных связях членов массы друг с другом.

Но наша любознательность сразу задаст вопрос, каковы же эти связи в массе. В психологическом учении о неврозах мы до сих пор занимались почти исключительно такой связью любовных первичных позывов с их объектом, которые преследовали прямые сексуальные цели. Такие сексуальные цели в массе, очевидно, не существуют. Мы имеем здесь дело с любовными первичными позывами, которые, не теряя вследствие этого своей энергии, все же отклонились от своей непосредственной цели. Ведь уже в рамках обычной сексуальной занятости объектом мы заметили явления, которые соответствуют отклонению инстинкта от его сексуальной цели. Мы описали их как степени влюбленности и признали, что они ведут за собой известное унижение «Я». На этих явлениях влюбленности мы остановимся теперь более подробно, имея основания ожидать, что мы обнаружим у них обстоятельства, которые могут быть перенесены на связи в массах. Но кроме того, мы хотели бы знать, является ли этот вид занятости объектом, знакомым нам из половой

жизни, единственным видом эмоциональной связи с другим человеком или же мы должны принять во внимание еще и другие подобные механизмы. Из психоанализа мы действительно узнаем, что есть еще и другие механизмы эмоциональной связи, так называемые идентификации (отождествления), недостаточно известные, трудно поддающиеся описанию процессы, исследование которых удержит нас на некоторое время от темы массовой психологии.

VII. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Идентификация известна психоанализу как самое раннее проявление эмоциональной связи с другим лицом. Она играет определенную роль в предыстории Эдипова комплекса*. Малолетний мальчик проявляет особенный интерес к своему отцу. Он хочет сделаться таким и быть таким, как отец, хочет решительно во всем быть на его месте. Можно спокойно сказать: он делает отца своим идеалом. Его поведение не имеет ничего общего с пассивной или женственной установкой по отношению к отцу (и к мужчине вообще), оно, напротив, исключительно мужественное. Оно прекрасно согласуется с Эдиповым комплексом, подготовке которого и содействует.

Одновременно с этой идентификацией с отцом, может быть даже и до того, мальчик начинает относиться к матери как к объекту опорного типа. Итак, у него две психологически различные связи: с матерью — чисто сексуальная захваченность объектом, с отцом — идентификация по типу уподобления. Обе связи некоторое время сосуществуют, не влияя друг на друга и не мешая друг другу. Вследствие непрерывно продолжающейся унификации психической жизни они наконец встречаются, и, как следствие этого сочетания, возникает нормальный Эдипов комплекс. Малыш замечает, что дорогу к матери ему преграждает отец; его идентификация с отцом принимает теперь враждебную окраску и делается идентичной с желанием заменить отца и у матери. Ведь идентификация изначально амбивалентна,

она может стать выражением нежности так же легко, как и желанием устранения. Она является порождением первой оральной фазы либидозной организации, когда соединение с желанным и ценным объектом осуществлялось его съеданием и когда при этом данный объект, как таковой, уничтожался. Людоед, как известно, сохранил эту точку зрения: своих врагов он любит так, что «съесть хочется», и он не съедает тех, кого, по какой-либо причине, не может полюбить.

Судьба этой идентификации с отцом позднее легко ускользает от наблюдения. Возможно, что в Эдиповом комплексе совершается обратный поворот, что отец при женственной установке принимается за объект, от которого ждут удовлетворения непосредственные сексуальные первичные позывы, и тогда идентификация с отцом предшествует объектной связи с ним. Так же — с соответствующими заменами — обстоит дело и в случае малолетней дочери.

Легко сформулировать разницу между такой идентификацией с отцом и объектным избранием отца. В первом случае отец есть то, чем хотят быть, во-втором — то, чем хотят обладать. Разница, следовательно, в том, задевает ли эта связь субъект или объект человеческого «Я». Поэтому первая связь возможна еще до всякого сексуального выбора объекта. Гораздо труднее наглядно изложить это различие метапсихически. Достоверно лишь то, что идентификация стремится сформировать собственное «Я» по подобию другого, взятого за «образец».

Из более сложной ситуации мы выделяем идентификацию при невротическом возникновении симптомов. Предположим, что маленькая девочка, которую мы теперь возьмем как пример, испытывает тот же симптом болезни, как и ее мать, например тот же мучительный кашель. Это может происходить различно. Либо идентификация та же, из Эдипова комплекса, т. е. означает враждебное желание занять место матери, и симптом выражает объектную любовь к отцу; симптом реализует замену матери под влиянием чувства виновности: ты хотела быть матерью, так теперь ты стала ею, по крайней мере, в страдании. В таком случае это законченный механизм истерического симпто-

мообразования либо симптом, равный симптому любимого лица (как, например, Дора из моей статьи «Случай Доры» имитировала кашель отца); тогда мы можем описать происходящее только таким образом, что идентификация заняла место объектного выбора, объектный выбор регрессировал до идентификации. Мы слышали, что идентификация является самой ранней и самой первоначальной формой эмоциональной связи; в условиях образования симптомов, т. е. вытеснения и господства механизмов бессознательного, часто случается, что объектный выбор снова становится индентификацией, т. е. «Я» перенимает качества объекта. Примечательно, что при этих идентификациях «Я» иногда копирует нелюбимое лицо, а иногда любимое. Достойно внимания и то, что в обоих случаях идентификация лишь частичная, крайне ограниченная, и копируется только одна-единственная черта объектного лица.

Третьим, особенно частым и важным фактом симптомообразования является то, что идентификация совершенно лишена объектного отношения к копируемому лицу. Если, например, девушка в пансионе получает от тайного возлюбленного письмо, вызывающее ее ревность, и она реагирует на него истерическим припадком, то с несколькими из ее подруг, которые знают о письме, тоже случится этот припадок, как следствие, как мы говорим, психической инфекции. Это — механизм идентификации, на почве желания или возможности переместить себя в данное положение. Другие тоже хотели бы иметь тайную любовную связь и под влиянием сознания виновности соглашались и на связанное с этим страдание. Было бы неправильно утверждать, что они усваивают симптом из сочувствия. Сочувствие, наоборот, возникает только из идентификации, и доказательством этого является то, что такая инфекция или имитация имеет место и в тех случаях, когда можно предположить еще меньшую предшествующую симпатию, чем обычно бывает у подруг в пансионе. Одно «Я» осознало в каком-то пункте значительную аналогию с другим «Я», — в нашем примере одинаковую готовность к эмоции; затем в этом пункте возникает идентификация, и под влиянием патогенной ситуации эта

идентификация перемещается на симптом, порожденный первым «Я». Таким образом, идентификация через симптом делается для обоих «Я» признаком взаимного перекрытия какой-то части их личности, которое должно оставаться вытесненным.

Сведения, полученные нами из этих трех источников, мы можем резюмировать следующим образом: во-первых, идентификация представляет собой самую первоначальную форму эмоциональной связи с объектом; во-вторых, регрессивным путем, как бы интроекцией объекта в «Я» она становится заменой либидозной объектной связи; в-третьих, она может возникнуть при каждой вновь замеченной общности с лицом, не являющимся объектом сексуальных первичных позывов. Чем значительнее эта общность, тем успешнее может стать эта частичная идентификация и соответствовать, таким образом, началу новой связи.

Мы предчувствуем, что взаимная связь массовых индивидов уже по самой природе такой идентификации является важной аффективной общностью, и можем предполагать, что эта общность заключается в характере связи с вождем. Другое предположение может подсказать нам, что мы далеко не исчерпали проблему идентификации, что мы стоим перед процессом, который психология называет «вживанием» и который играет первостепенную роль для нашего понимания чужеродности «Я» других людей. Но здесь мы ограничимся ближайшими аффективными воздействиями идентификации и оставим пока в стороне ее значение для нашей интеллектуальной жизни.

Психоаналитическое исследование иногда занималось и более трудными проблемами психозов и смогло обнаружить идентификацию и в некоторых других случаях, которые не сразу доступны нашему пониманию. Я подробно изложу два этих случая как материал для наших дальнейших рассуждений.

Генезис мужской гомосексуальности в целом ряде случаев следующий: молодой человек необыкновенно долго и интенсивно, в духе Эдипова комплекса, сосредоточен на своей матери. Но наконец, по завершении полового созревания все же настает время заменить мать другим сексуальным объектом. И тут

происходит внезапный поворот: юноша не покидает мать, но идентифицирует себя с ней, он в нее превращается и ищет теперь объекты, которые могут заменить ему его собственное «Я», которых он может любить и лелеять так, как его самого любила и лелеяла мать. Этот часто наблюдающийся процесс может быть подтвержден любым количеством случаев; он, конечно, совершенно независим от всяких предположений, которые делаются относительно движущей силы и мотивов этого внезапного превращения. Примечательна в этой идентификации ее обширность, она меняет «Я» в чрезвычайно важной области — а именно в сексуальном характере — по образцу прежнего объекта. При этом сам объект покидается, покидается ли он совсем или только в том смысле, что он остается в бессознательном, не подлежит здесь дискуссии. Идентификация с потерянным или покинутым объектом, для замены последнего, интроекция этого объекта в «Я» для нас, конечно, не является новостью. Такой процесс можно непосредственно наблюдать на маленьком ребенке. Недавно в Международном психоаналитическом журнале было опубликовано такое наблюдение. Ребенок, горевавший о потере котенка, без всяких обиняков заявил, что сам он теперь котенок, и стал поэтому ползать на четвереньках, не хотел есть за столом и т. д.

Другой пример такой интроекции объекта дал нам анализ меланхолии, аффекта, считающего реальную или аффективную потерю любимого объекта одной из самых важных причин своего появления. Основной характер этих случаев заключается в жестоком унижении собственного «Я» в связи с беспощадной самокритикой и горькими упреками самому себе. Анализы показали, что эта оценка и эти упреки в сущности имеют своей целью объект и представляют собой лишь отмщение «Я» объекту. Тень объекта отброшена на «Я», сказал я однажды. Интроекция объекта здесь чрезвычайно ясна.

Эти меланхолии, однако, выявляют и нечто другое, что может оказаться важным для наших дальнейших рассуждений. Они показывают нам «Я» в разделении, в расщепленности на две части, из которых каждая неистовствует против другой. Эта дру-

гая часть есть часть, измененная интроекцией, заключающая в себе потерянный объект. Но знакома нам и часть, так жестоко себя проявляющая. Она включает совесть, критическую инстанцию, которая и в нормальные времена критически подходила к «Я», но никогда не проявляла себя так беспощадно и так несправедливо. Мы уже в предшествующих случаях должны были сделать предположение (нарциссизм, печаль и меланхолия), что в нашем «Я» развивается инстанция, которая может отделиться от другого «Я» и вступить с ним в конфликт. Мы назвали ее «Я-идеалом» и приписали ей функции самонаблюдения, моральной совести, цензуры сновидений и основное влияние при вытеснении. Мы сказали, что она представляет собой наследие первоначального нарциссизма, в котором детское «Я» удовлетворяло само себя. Из влияний окружающего эта инстанция постепенно воспринимает требования, которые предъявляются к «Я» и которые оно не всегда может удовлетворить; но когда человек не может быть доволен своим «Я», он все же находит удовлетворение в «Я-идеале», которое дифференцировалось из «Я». В мании выслеживания, как мы далее установили, явно обнаруживается распад этой инстанции и при этом открывается ее происхождение от влияний авторитетов — родителей прежде всего. Мы, однако, не забыли отметить, что мера удаления «Я-идеала» от «Я» актуального сильно варьируется для отдельных индивидов и что у многих людей эта дифференциация внутри «Я» не больше дифференциации у ребенка. Однако прежде чем мы сможем использовать этот материал для понимания либидозной организации массы, мы должны принять во внимание некоторые другие взаимоотношения между объектом и «Я».

VIII. Влюбленность и гипноз

Язык даже в своих капризах верен какой-то истине. Правда, он называет «любовью» очень разнообразные эмоциональные отношения, которые и мы теоретически сводим к слову «любовь», но далее он все же сомневается, настоящая ли, действи-

тельная, истинная ли эта любовь, и указывает внутри этих любовных феноменов на целую шкалу возможностей. Нам тоже нетрудно найти ее путем наблюдения.

В целом ряде случаев влюбленность есть не что иное, как психическая захваченность объектом, диктуемая сексуальными первичными позывами в целях прямого сексуального удовлетворения и с достижением этой цели и угасающая; это то, что называют низменной, чувственной любовью. Но, как известно, либидозная ситуация редко остается столь несложной. Уверенность в новом пробуждении только что угасшей потребности была, вероятно, ближайшим мотивом, почему захваченность сексуальным объектом оказывалась длительной и его «любили» и в те промежутки времени, когда влечение отсутствовало.

Из весьма примечательной истории развития человеческой любовной жизни к этому надо добавить второй момент. В первой фазе жизни, обычно уже заканчивающейся к пяти годам, ребенок в одном из родителей нашел первый любовный объект, на котором соединились все его искавшие удовлетворения сексуальные первичные позывы. Наступившее затем вытеснение имело следствием вынужденный отказ от большинства этих детских сексуальных целей и оставило за собой глубокое видоизменение отношений к родителям. Ребенок и дальше остается привязанным к родителям первичными позывами, которые надо назвать «целепрегражденными». Чувства, которые он с этих пор питает к этим любимым лицам, носят название «нежных». Известно, что в бессознательном эти прежние чувственные стремления сохраняются в большей или меньшей степени, так что первоначальная полнокровность в известном смысле остается и в дальнейшем.

С возмужалостью появляются, как известно, новые, весьма интенсивные стремления, направленные на прямые сексуальные цели. В неблагоприятных случаях они, как выражение чувственности, отделены от продолжающихся «нежных» эмоциональных направлений. Тогда мы имеем картину, оба аспекта которой так охотно идеализируются известными литературными течениями. Мужчина обнаруживает романтическое влече-

ние к высокочтимым дамам, которые, однако, не влекут его к сексуальному общению, вступает в сексуальные отношения с другими женщинами, которых он не любит, не уважает и даже презирает. Но чаще взрослому юноше все же удается известная мера синтеза между нечувственной, небесной, и чувственной, земной, любовью и его отношение к сексуальному объекту отмечено совместным действием непрегражденных и целепрегражденных первичных позывов. Глубину влюбленности можно измерить по количеству целепрегражденных нежных инстинктов, сопоставляя их с простым чувственным вождением.

В рамках влюбленности нам прежде всего бросился в глаза феномен сексуального повышения оценки, тот факт, что любимый объект в известной мере освобождается от критики, что все его качества оцениваются выше, чем качества нелюбимых лиц или чем в то время, когда это лицо еще не было любимо. Если чувственные стремления несколько вытесняются или подавляются, то появляется иллюзия, что за свои духовные достоинства объект любим и чувственно, а между тем, может быть, наоборот, только чувственное расположение наделило его этими достоинствами.

Стремление, которым суждение здесь фальсифицируется, — есть идеализация. Но этим самым нам облегчается и ориентировка, мы видим, что с объектом обращаются как с собственным «Я», что, значит, при влюбленности большая часть нарциссического либидо перетекает на объект. В некоторых формах любовного выбора очевиден даже факт, что объект служит заменой никогда не достигнутого собственного «Я-идеала». Его любят за совершенства, которых хотелось достигнуть в собственном «Я» и которые этим окольным путем хотят приобрести для удовлетворения собственного нарциссизма.

Если сексуальная переоценка и влюбленность продолжают повышаться, то расшифровка картины делается еще яснее. Стремления, требующие прямого сексуального удовлетворения, могут быть теперь совсем вытеснены, как это обычно случается, например, в мечтательной любви юноши, «Я» делается все

нетребовательнее и скромнее, а объект все великолепнее и ценнее; в конце концов он делается частью общего себялюбия «Я», и самопожертвование этого «Я» представляется естественным следствием. Объект, так сказать, поглотил «Я». Черты смирения, ограничение нарциссизма, причинение себе вреда имеются во всех случаях влюбленности; в крайних случаях они лишь повышаются и, вследствие отступления чувственных притязаний, остаются единственно господствующими.

Это особенно часто бывает при несчастной, безнадежной любви, так как сексуальное удовлетворение ведь каждый раз заново снижает сексуальное превышение оценки. Одновременно с этой «самоотдачей» «Я» объекту, уже ничем не отличающейся от сублимированной самоотдачи абстрактной идее, функции «Я-идеала» совершенно прекращаются. Молчит критика, которая производится этой инстанцией; все, что объект делает и требует, — правильно и безупречно. Совесть не применяется к тому, что делается в пользу объекта; в любовном ослеплении идешь на преступление, совершенно в этом не раскаиваясь. Всю ситуацию можно без остатка резюмировать в одной формуле: объект занял место «Я-идеала».

Теперь легко описать разницу между идентификацией и влюбленностью в ее высших выражениях, которые называют фасцинацией, влюбленной зависимостью. В первом случае «Я» обогатилось качествами объекта, оно, по выражению Ференци*, объект «интроцировало» — во втором случае оно обеднело, отдалось объекту, заменило объектом свою главнейшую составную часть. Однако при ближайшем рассмотрении можно заметить, что такое утверждение указывает на противоположности, которые на самом деле не существуют. Психоэкономически* дело не в обеднении или в обогащении — даже и высшую влюбленность можно описать как состояние, в котором «Я» якобы интроцировало в себя объект. Может быть, другое различие скорее раскроет нам суть явления. В случае идентификации объект утрачивается или от него отказываются; затем он снова воссоздается в «Я», причем «Я» частично изменяется по образцу утраченного объекта. В другом же случае объект сохранен

и имеет место «сверхзахваченность», но со стороны «Я» и за счет «Я». Но и это вызывает сомнение. Разве установлено, что идентификация имеет предпосылкой отказ от психической захваченности объектом, разве не может идентификация существовать при сохранении объекта? И прежде чем пуститься в обсуждение этого щекотливого вопроса, у нас может появиться догадка, что сущность этого положения вещей содержится в альтернативе, а именно: не становится ли объект на место «Я» или «Я-идеала».

От влюбленности явно недалеко до гипноза. Соответствие обоих очевидно. То же смиренное подчинение, уступчивость, отсутствие критики как по отношению к гипнотизеру, так и по отношению к любимому объекту. Та же поглощенность собственной инициативы, нет сомнений, что гипнотизер занял место «Я-идеала». В гипнозе все отношения еще отчетливее и интенсивнее, так что целесообразнее пояснять влюбленность гипнозом, а не наоборот. Гипнотизер является единственным объектом; помимо него, никто другой не принимается во внимание. Тот факт, что «Я», как во сне, переживает то, что гипнотизер требует и утверждает, напоминает нам о том, что, говоря о функциях «Я-идеала», мы упустили проверку реальности. Неудивительно, что «Я» считает восприятие реальным, если психическая инстанция, заведующая проверкой реальности, высказывается в пользу этой реальности. Полное отсутствие стремлений с незаторможенными сексуальными целями еще более усиливает исключительную чистоту явлений. Гипнотическая связь есть неограниченная влюбленная самоотдача, исключая сексуальное удовлетворение, в то время как при влюбленности таковое оттеснено лишь временно и остается на заднем плане как более поздняя целевая возможность.

Однако, с другой стороны, мы можем сказать, что гипнотическая связь — если позволено так выразиться — представляет собой образование массы из двух лиц. Гипноз является плохим объектом для сравнения с образованием масс, так как он, скорее всего, с ним идентичен. Из сложной структуры массы он изолирует один элемент, а именно поведение массового индивида

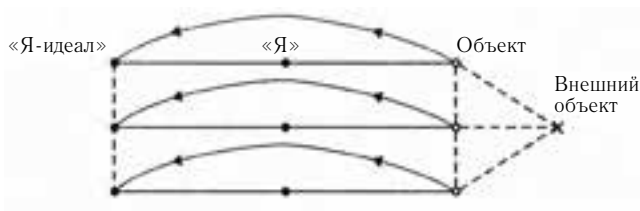
по отношению к вождю. Этим ограничением гипноз отличается от возникновения масс, а отсутствием прямых сексуальных стремлений — от влюбленности. Он, таким образом, занимает между ними среднее положение.

Интересно отметить, что именно заторможенные в целевом отношении сексуальные стремления устанавливают между людьми прочную связь. Но это легко объяснимо тем фактом, что они неспособны к полному удовлетворению, в то время как незаторможенные сексуальные стремления чрезвычайно ослабевают в каждом случае достижения сексуальной цели. Чувственная любовь приговорена к угасанию, если она удовлетворяется; чтобы продолжаться, она с самого начала должна быть смешана с нежными, т. е. заторможенными в целевом отношении компонентами, или же должна такую трансформацию претерпеть.

Гипноз прекрасно бы разрешил загадку либидозной конституции массы, если бы сам он не содержал каких-то черт, не поддающихся существующему рациональному объяснению, как якобы состояния влюбленности с исключением прямых сексуальных целей. Многое еще в нем следует признать непонятым, мистическим. Он содержит примесь парализованности, вытекающей из отношения могущественного к бессильному, беспомощному, что примерно приближается к гипнозу испугом у животных. Способ, которым гипноз достигается, и сопряженность гипноза со сном неясны, а загадочный отбор лиц, для гипноза годных, в то время как другие ему совершенно не поддаются, указывает на присутствие в нем еще одного неизвестного момента, который-то, может быть, и создает в гипнозе возможность чистоты либидозных установок. Следует также отметить, что даже при полной суггестивной податливости моральная совесть загипнотизированного может проявлять сопротивление. Но это происходит оттого, что при гипнозе в том виде, как он обычно производится, сохраняется знание того, что все это только игра, ложное воспроизведение иной, но жизненно гораздо более важной ситуации.

Благодаря проведенному нами разбору мы, однако, вполне подготовлены к начертанию формулы либидозной конституции

массы. По крайней мере, такой массы, какую мы до сих пор рассматривали, т. е. имеющей вождя и не приобретшей вторично, путем излишней «организованности», качеств индивида. Такая первичная масса есть какое-то число индивидов, сделавших своим «Я-идеалом» один и тот же объект и вследствие этого в своем «Я» между собой идентифицировавшихся. Это отношение может быть изображено графически следующим образом:



IX. Стадный инстинкт

Наша радость по поводу иллюзорного разрешения, с помощью этой формулы, загадки массы — будет короткой. Очень скоро нас станет тревожить мысль, что по существу-то мы приняли ссылку на загадку гипноза, в которой еще так много неразрешенного. И вот новое возражение приоткрывает нам дальнейший путь.

Мы вправе сказать себе, что обширные аффективные связи, замеченные нами в массе, вполне достаточны, чтобы объяснить одно из ее свойств, а именно отсутствие у индивида самостоятельности и инициативы, однородность его реакций с реакцией всех других, снижение его, так сказать, до уровня массового индивида. Но при рассмотрении массы как целого она показывает нам больше: черты ослабления интеллектуальной деятельности, безудержность аффектов, неспособность к умеренности и отсрочке, склонность к переходу всех пределов в выражении чувств и к полному отводу эмоциональной энергии через действия — это и многое другое, что так ярко излагает Лебон, дает несомненную картину регресса психической деятельности к более ранней ступени, которую мы привыкли находить